

Б И Б Л И О Т Е К А

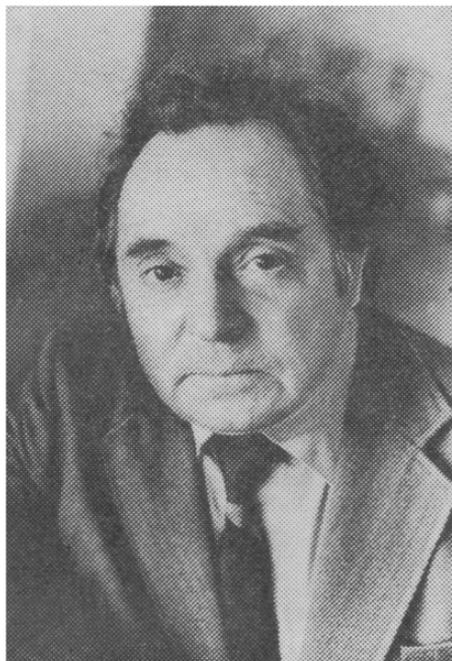
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 32

1986



*Николай* **ВОРОНОВ**

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**КРИК О ПОМОЩИ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 32

---

Николай ВОРОНОВ

# КРИК О ПОМОЩИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986

*Николай ВОРОНОВ*

*Николай Павлович Воронов родился в 1926 году на Урале. Учился в Магнитогорске. Там же работал на металлургическом комбинате. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Печататься начал в 1948 году, в Союз писателей СССР принят в 1956-м. Автор рассказов, повестей, романов «Кассирша», «Гудки паровозов», «Голубиная охота», «Лягушонок на асфальте», «Юность в Железнодорожке», «Макушка лета», «Котел». Живет в Москве.*

## КРИК О ПОМОЩИ

### 1

За полночь он раздался:

— Спаси-ите! Убьет! Ах ты... На помощь!

Не из пространства двора призыв, разрываемый смертельной тревогой, не из подъезда: откуда-то из помещеньца, сжатого до пределов барокамеры.

Балконная дверь была открыта. Я метнулся с кровати, отшвырнул штору к перилам, завис лицом над черной бездной. Лампочка под козырьком крыльца перегорела, окна не светились, п а р у с почти без жильцов — отпуска, каникулы, дачный период...

Около соседнего п а р у с а тлел сиренево фонарь, похожий на летающую тарелку. В сонном его зареве я разглядел у кромки нашего тротуара обычное такси, охваченное тьмой. И ни души. Наверно, из такси кричал мужчина? Неужели водитель грабит пассажира? Огни-то погашены.

Кинулся на лестничную площадку, спуск в лифте, напротив подъезда таксомотор, позади него — всклень наполненная выбоина. Вечером сыпанул дождь, налил выбоину. Как раз возле выбоины топтались, согнувшись, три крупных мужика. Они прижались к тротуару, кажется, подростка. Во всяком случае, человек, придавливаемый ими, в отличие от них был миниатюрным. Но благодаря упругой верткости крутился на асфальте, стремясь вырваться. Они сграбастывали паренька и опять придавливали к тротуару.

— Деньги... в грудном кармане... — задышливо пробормотал один из трех. Будничный тон подсазки, куда надо стремиться, тем не менее подхлестнул его сотоварищей: яростней принялись действовать. В этот момент я разглядел кучеряво-плотные волосы поваленного и узнал Валерку Барженкова. Лежал он, согнут в туловище — подбородок в ключицу, руки на боках в обхват. Куртка приталенная. «Молнию» мужикам удалось разять, до грудного кармана, из-за того что Валерка сжался, покамест не изловчились долезть.

— Отставить! — крикнул я, догадываясь, что неспроста они добираются до внутреннего кармана куртки.

Силовая жизнь человеческого клубка замерла. Незнакомцы, продолжая удерживать Валерку, угрюмо уставились на меня. Валерка сумел оторвать щеку от асфальта, глянул, кто неожиданно-негаданно возник среди ночной глухомани.

Ах, какие зоркие встречаются глаза у особей мужского пола. Зоркость такого свойства обнаруживается довольно рано. Мальчишка совсем тоненький — стебелек первой травинки на косогоре, — еще в детский садик начал только ходить, а взгляд пронзительный и уже жестковатый. В то же время при твердой зоркости впечатление от глаз как бы не в характере, не в натуре: кажется, что изнутри они просвечены солнцем. Валеркины глаза и при взгляде искоса оставались зоркими, солнцеполненными.

— А ведь это грабеж! — вырвалось у меня.

— Ничего подобного, — сказал прежний голос, и по тому, как завился мгновенный парок возле его рта, я понял, что протестует мужчина, средний из трех: простоволосый, поверх нейлоновой рубашки на полной груди и вислом животе разъехались крапчатые подтяжки, брюки тоже вислые, как в привычке у людей, которым и столица, что собственная квартира, — ходи себе вольготно в мятой одежде.

— Отпустите парня.

Ближний к бамперу дядек осведомился, знаю ли я сего типа. Я ответил, что знаю. Он, подпустив в басок зубное шипение, заметил: скверно-де знаю. На что я сказал, что это не меняет дела, и пригрозил, если дальше будут держать Валерку, вызвать милицию.

Дядек, коломенская верста, кепка жокея, усы полумесяцем, обрадовался моей угрозе: сами надеялись туда его доставить, но выискался добровольный помощник.

Средний, в подтяжках, подкрепляя дядьку, пожаловался, что Валерка не заплатил денег, и вконец расстроился, прибавив, когда, мол, подобные охломоны будут ездить на такси, досрочно попадешь на Ваганьковское кладбище.

Посочувствовал я водителю. Московские таксисты сроду-роду не огорчали меня. Всяким я с ними ездил. Исключительная надежность. Не обеляю их. Кое о чем слышал и читал, однако самолично худого слова не произнесу.

Я прошел к машине. На счетчике значилось четыре рубля восемьдесят копеек. И всегда-то за востроглазостью Валерки, пронятой солнечным маревом, подозревалась мне вероятность козней.

— Почему не кинул червонец? — спросил я Валерку и не утерпел: — Обещал двойной тариф — заплати.

Отпустили они Валерку. Разминаться вздумал. Я гаркнул, чтоб он отдал еще пятерку и уматывал.

Корчило его при отдаче пятерки. Он обратно руку засунул в грудной карман, шелестел там купюрами, словно деньги могли к нему вернуться, как проданные голуби в голубятню.

В подкрылечном сумраке он остановился. Хотел вылепить что-нибудь напоследок. Вот нейма... Опять ведь сгрудят. Заряжены мощным напряжением. Защищать больше не стану, тем более что электричество не по моей части.

Третий, который молчал, подосадовал:

— Сударь, вы пытаетесь увести от возмездия если не явного, то скрытого преступника. Он частенько торчит у подземного перехода напротив Телеграфа, где клубятся разные фарцовщики.

Он закашлялся и, преодолев болевую одышку, рассердился:

— Ребра посворачивал. Надо бы зарегистрировать следы побоев. Прощаем, прощаем подонков.

Усач в кепке жокея подбавил мраку:

— Левой рукой еле шевелю. Не представляю, как поведу машину. Зарекался не единожды... Что ни тип, то приемами владеет.

Валерка вылетел к ним из сумрака. И он регистрирует следы побоев. Хотя он не пользовался приемами джиу-джитсу, они пользовались — почки ему отбили.

Я сказал мужикам, что они вольны поступать, как находят нужным, но подчеркнул, что стерильной чистоты перед законом у них нет.

— Сударь, вы льете воду на мельницу негодяя. — Это снова третий: берет из вельвета, плащ вельветовый с погончиками, полуботинки с вельветовым верхом. — Подобру-поздорову вмешались, водителя мордовал, так нет — самурайскими ударами встретил.

Растопырив руки, точно гусака в сарай, я загнал Валерку в подъезд. Перед лифтом он заартачился — поднимется пешком — и побежал вверх по лестнице.

## 2

Не в каком-нибудь лифте, в этом, правом, восточном, я поднимался с ним. Лифт должен был через мгновение сесть. Тут как раз он и подоспел. Осень зябкая от въедливо ледяного ветра. Он в ондатровой шапке, дубленке, теплых туфлях, высокий каблук которых округло скошен в подрез пятки.

Я поздоровался с ним, когда створки размыкались. Его квартира находится ниже моей тремя этажами, все-таки он вошел в лифт первым, по самолюбивой ли привычке, по причине ли измышленного собственного положения.

— Вас вроде Алексей Сергеич? — спросил я.

— Положим, не ошиблись? — вопросом на вопрос ответил он и ударил ребром ладони в кнопку восьмого этажа.

- Алексей Сергеич, я поздоровался с вами...
- Зачем?
- Есть вежливость...
- В данном случае она без пользы.
- Несуразица какая-то: пристегивать вежливость к пользе.
- Век экономики.
- Разве трудно ответить на приветствие?
- Трудно, поскольку нецелесообразно.
- Опять за тем же ухом чешете.
- Я молчать хочу.
- Ведь лет десять живем в одном подъезде.
- Экая важность.
- Мой сын учился с вашим.
- Ну и что?
- Они дружат.

Лифт встал с подскоком. Пора бы привыкнуть к его давним взбрыкам, как к мальчишеским шалостям, нет, он заперебирал губами, еле сдерживая брань. Едва он вышел из лифта, я напомнил о дружбе наших сыновей.

- Женятся — дружбе кранты,— огрызнулся он.
- И все-таки наши судьбы связаны через них.
- Они сами по себе, мы сами по себе.
- Если все это для вас ничего не значит, то хотя бы вспомните, что мы соседи.— Я придавил красную кнопку, чтобы створки не сомкнулись.

Он продолжал злиться.

— Деревенский наив. Без обособленности никуда. Спасает от многолюдья.

Кивком ладони он внезапно сбил мой палец с кнопки, потом послал лифт на мой этаж. Дверцы, сжимая просвет, едва не прихватили ему руку.

— От соседа отбояришься,— крикнул я,— от совести не отгородишься.

### 3

Люблю остаться в одиночестве. За школьный год так устаешь от суетонок, что рад-радешенек получасу безлюдья. Тут мне и совсем посчастливилось. Директриса повезла больную мать в Оренбург («Где взошла на свет, там и закачусь»), а в разгаре ремонт школы, вот и попросила меня заменить ее на месяц. Мы с ней дружны, и знает она мою склонность. Покукуй, говорит, всласть в свободном Тропареве!

Маляры покамест снаружи белят, потому и нахожусь я в пустой школе.

Нигде не бывает летом тише тишины, чем в школе, словно ее до того угрохали гвалты и топоты, что она впала в спячку. Сажу я в прохладе,

книжки читаю. Страницу переворачиваю — звук громкий, будто бы внезапным вихрем сорвало с крыши кусок толя и хлопнуло об асфальт. Да что там звук страницы? Я слышу, как растет моя борода. Впрочем, чуть не наврал: на все этажи трезвоил звонок, приглашая на перемену, потом — на урок. Физик забыл отсоединить реле времени, я с электричеством не связываюсь с детства, вот и простреливалась верещанием моя тишина.

Зато дома покой, особенно за полночь. Детей я отвез в деревню Русиново к маме, жена уехала со своим классом в лагерь труда и отдыха. В самом деле, кукую всласть.

Именно за полночь раздался тот крик.

Летом я пробегаю по Тропаревскому оврагу счастливым. Когда кутенок радуется, он лупит себя по ушкам, трет лапками морду, дрыгоножится, лежа на спине, напоминая младенцев, жеребят, диких кабанчиков. Я уж давно большой дурень, при моей поджарости нетнет и называют папашей, а все могу безотчетно радоваться: и по ушам себя лупить, спускаясь в овраг бурой тропинкой, и подпрыгивать, и всхрюкивать, и пасть спиной на траву да кочевряжиться в воздухе руками-ногами. Безотчетность от чувства собственной жизни, которое игриво взбрыкивает в тебе, но оно и подкрепляется чувством вселенской жизни, особенно той, которой ты объят в овраге, перво-наперво запахами. Ах, как терпко железиста влажная глина (ночью-то дождик ливанул), сласть тальниковой коры навеивает отлетевшую с детства медвяность лозняков по берегам Угры, горьковатый настой пижмы, еще вчера не приманивавшей взгляда, а теперь цвета индийского золота...

Мама учила меня узнавать растения в лицо, а по-прежнему я среди них, как во дворе среди школьников теплым днем ранней весны: одних знаю, других встречал, третьих впервые вижу, четвертых забыл. В овраге да по опушке роци у нас царство зонтичных трав. Страдаю из-за того, не вру, что только узнаю среди них дудник, морковник, купырь, пастернак, болиголов, и все. О, соврал, кокарь-ёкарь. Узнаю еще тмин, по семенам. Забыл за двадцать лет городского существования в полуподвальной квартире Даева переулка многие зонтичные. Когда перебрались в Тропарево, восстанавливать стал узнанное от мамы. Она-то с девочек начала работать в уездной больнице Юхнова. В ту пору он был смоленским городком, теперь калужский районный центр. Главный врач больницы пользовал природные сокровища для исцеления, потому приохочивал к заготовке корней, трав, листьев, коры, ягод всех из больничного состава, даже кучера и дровосека. Тогда моя мама, еще незамужняя, была поломойкой и подсобницейстряпухи. Ее склонность к заготовке лекарственных средств главный врач выделил и поручил ей собирать гербарий. В детстве из зонтичных я рвал бедренец, камнеломку и сныть для салатов. Сейчас их не нахожу. Должны были бы они водиться в Москве. Не узнаю скорее

всего, хотя и завел «Ботанический атлас» и два тома «Травянистых растений СССР», ничего не достиг. Зонтичные так воспроизводятся, что болиголов «Ботанического атласа» не походит на болиголов «Травянистых растений СССР».

Тем утром, которое последовало за ночным происшествием, я останавливался возле дудника, жабрицы и пастернака, чтобы подышать их ароматом. Потом, когда рассматривал сквозь лупу цветок кипрея мохнатого: четыре розовых лепестка в синей световой оторочке (не аура ли?), молочный крестом пестик ворсисто пушист, желтенькие, под ним, тычинки,— мимо меня проследовали Барженков-отец, верный себе,— сплотненными губами не дрогнул, головы не принагнул,— и его супруга, подобная ему, словно сестра, светлыми, в прозолоть, кудрявыми волосами, белым лицом, округлым в скулах, лазоревыми глазами. Она пожелала мне доброго утра. Я отзывно завстряхивал головой, приставил увеличительное стекло к кипрею, люблюсь, мол, и она кивнула с глухим, как ощутилось, сердцем.

За увлеченностью цветами я не связал ее настроения с Валеркой. Почему-то был уверен, что ночной инцидент завершился, едва их сын побегал вверх по лестнице. Если я о чем и встревожился, проваяя их взглядами, так о судьбе Тропаревского оврага. Неужели он будет засыпан ради постройки трех-четырех башен? И опять на новых территориях вместо детей земли: серебристых ракич, тополей, голубых светильников цикория, пушисто-сиреневого лисохвоста, золотого зверобоя, вербейника, лядвенца, вместо птичьих детей и детей насекомых будут водиться только человечьи, собакины, кошкины дети да еще угарные семейства заводов — всяческие машины...

Внутри демократического Берлина сохраняют деревню. А мы на том же Юго-Западе срыли деревню за деревней: Тропарево, Раменки, Никольское... И, наверно, не пощадим овраг — природное чудо округи. Боже мой, да почему же градостроительная целесообразность должна по-акульи заглатывать природную красоту, создающую радугу наших чувств и нашу любовь к близкому, кровному, непреходящему?

#### 4

К полудню Барженковы заявили в школу. Для меня это было равносильно тому, как если бы в директорский кабинет въехали мотоциклисты. Особенно несусветным показался его приход. Моя напарница Ольга Федоровна Росинцева, обучающая физкультуре младшие классы, длинношеяя, длинноногая (прозвище — Жирафа) в непредставимых по несурзности случаям свое удивление выражает словом «а б р а к а д а б р и н г». У меня, кстати, прозвище Отставник.

Я воскликнул про себя: «Абракадабрин!» — едва пригладившись к замураванно недоступному выражению лица Барженкова-старшего, который стоял за спиной своей жены Ларисы Федоровны. Допустить,

что он способен стоять позади кого-либо, тем более за спиной дамы, притом жены,— абракадабринг фантазмагорического толка.

Чтобы мой отец выуживал на Угре громадных голавлей, я ловил пацаном кузнечиков с мечом, который по-научному называется яйцекладом. Папа отстригал меч ножницами — он отпугивает рыбу. Летом Угра настолько прозрачна, что я, забравшись на осину, просматривал ее до глубины, где, как цепелины, проплывали самые крупные голавли, они обычно одиночные. При виде изогнутого на крючке кузнеца голавль настораживался и скрывался в зарослях из водорослей. Барженков-старший до прихода с женой производил на меня впечатление потаенного голавля, уклоняющегося от приманки, какой бы соблазнительной она ни была.

Частенько мне кажется, что способом благодарности стала неблагодарность. Я поспешил усевестить себя за унижение достоинства современников: «Они ж с выражением признательности». Моя жена Валентина Васильевна, которая тоже учителствует в нашей школе и преподает английский, язвительно называет расположенность быстро менять недовольство кем-либо на благоприятное отношение преждевременным торжеством духа.

Мое торжество если не духа, то по крайней мере души, сникло: не ради благодарности пришли — ради выручки Валерия. Ах, эта нужда в высоких чувствах. Как я опять опростоволосился. Сколько раз убеждал себя в том, что высокие чувства не могут быть предметом внутреннего потребления: они явление поклонения, исповедования, духовной ориентации. И сызнова, сызнова... купился. Барженковы будут эксплуатировать мою заботливость д о у п о р а. Я-то возмечтал вознаградиться признательностью.

— Виктор Константинович (когда кого-то приспичит, не то что имя-отчество добудут: твое генеалогическое древо в ы р а с т я т), наш сын находится в камере предварительного заключения,— заговорила Лариса Федоровна. — Ему грозит срок до шести лет. Проходит по двум статьям уголовного кодекса. Минимальная мера наказания — три года.

— Я же урегулировал...

— Вы поехали на лифте. Не уверена, что Валерик сам вернулся к ним... Кого-то могли послать вдогонку. В результате раздора — милиция.

Барженков дал им характеристику динамичных товарищей, чем внезапно разгневал Ларису Федоровну: посмотрела бы она, как он стерпел бы в сходных обстоятельствах.

— Принципиальничает.

— Прекратите резонерствовать.

Подозреваю, что я обрвал Барженкова не за его постыдную повадку в лифте: не мщю и тогда, когда необходимо мстить, вполне возможно, что израсходовал чувство мести во время Отечественной

войны,— и не за то, что он выступал в роли умничающего резонера в момент, тревожный для Ларисы Федоровны. Неловко это, хотя могу и ошибиться относительно себя, но я сорвался на невежливый окрик: «Прекратите резонерствовать!» — из-за места, на котором оказался. Сколько же раз я был горестным свидетелем человеческих превращений, обусловленных повышением! А я чем лучше тех, в ком повышение оборачивалось падением?

Извиняться перед ним я не стал, зато Ларисе Федоровне упростил задачу, выразив желание сделать все, что от меня зависит, для облегчения Валеркиной участи.

— Виктор Константинович, наш сын — паршивец.

— Вне обсуждения.

Ни она, ни я не отозвались на его реплику. Мало ли событий происходит сейчас на земле, но мы не обращаем на них внимания. Пусть почувствует себя, как в глубине пещеры без связи с внешним миром.

— Наш сын — паршивец. Чего заслуживает, такой должна быть кара. Правда, степень вины не определить без свидетелей с его стороны. Вы единственный свидетель. К сожалению.

Лариса Федоровна испугалась его опрометчивости, бросилась оправдываться, но я успокоил ее вопросом о том, что должен сделать. Надо было идти в милицию. Я обещал отправиться туда в два часа, когда в школу придет завуч старших классов Вия Адамовна Раузер.

Барженков, на редкость ладный в костюме цвета хаки полувоенного покроя, кивнул и удалился. Неприязнь к нему, боюсь, отклоняла меня от справедливости, потому что я подумал: «Отделался».

Лариса Федоровна разочарованно вышла из кабинета. Я не судил ее. И я, случись так с моим сыном, ждал бы помощи без промедления.

И все-таки было кстати, что я обязан дожидаться Вию Адамовну. Как завуч, она соотносилась сейчас с милицией по делам старшеклассников, обокравших лингафонный кабинет соседней школы, да и по другим прискорбным делам.

## 5

Близкие иногда знают о нас то, чего мы и не подозревали за собой. Моя жена знает, что я оцениваю человека по сложению, а потом уж по всему остальному, включая нравственные качества. У Валентины Васильевны есть причина думать подобным образом: если бы исчезла из Лувра Ника Самофракийская и нашелся бы великий скульптор, то можно было бы одеть ее в платье легкого шелка, привезти к морю, откуда наносит штормовым ветром, и начать рубить мрамор. Но почему-то она, синеглазая, светлотелая, уверена, что мне нравятся кареглазые, черноволосые, смуглые? Все я ума не мог приложить почему, и только приложил, в кабинете возникла Вия Адамовна.

Способность росмахи двигаться неслышно была ей свойственна. От удивления, быть может, я и воспринимал ее картинней, чем большинство учительниц, обычно предвзвываявших свое явление грациозным постуком каблук. Вия Адамовна носила обувь на низком каблуке, но не в этом загадка: в пуховой поступи ее ног.

Что я знал о себе, несмотря на бесспорность знаний обо мне самых близких людей? Я оцениваю человека прежде всего по судьбе и душе. Валентина Васильевна говорит, что у Вии Адамовны судьба без судьбы, имея в виду ее женскую долю. Я думаю, что ее судьба — школа, душа — озабоченность учениками. Идеальный комплект счастья: муж, дети, работа по призванию — не для всех обязательен, хотя и желателен. Мы жалеем Вию Адамовну, однако странно наше сострадание. Она утверждает, что не нуждается в нашем комплекте счастья.

В других учительницах картинность от их женского существа. В ней, бесшумно возникшей на пороге кабинета, она, пожалуй, от чувства школы. И если с плюшевой ласковостью она смотрит на меня, то потому, что я тоже учительствую, да еще и обретаюсь в священных пределах школы в то время, когда многие наши товарищи предаются отдыху и беззаботности.

Я рассказал ей о ночном происшествии, о супругах Барженковых. Куда девался веселый задор, сопровождавший возникновение Вии Адамовны? Она задумалась. Померкла лучистость бурых глаз.

Я обнадежился. Потеснив меня, она бросится на выручку Барженкова. Что же касается советов о помощи кому-либо, обычно ее не интересовало, виноват ли тот человек, — для нее неотложно было отыскать х о д для спасения.

И я недалеко ушел от моей супруги Валентины Васильевны, запрограммировав неизменность Вии Адамовны. Я не знал в ней и даже не предполагал разочарования. Она заговорила о том, что устала выручать, из-за неблагодарности устала. В расчете на благодарность есть нечто от жажды потребления, хотя бы в эмоциональной области. Ты потребляешь мою помощь, иногда равную спасению от гибели, я потребляю славу, вызванную твоей и твоих родных и друзей благодарностью, подпитанную еще и собственной кичливостью. Она прошла через такие себялюбивые вещи, как и через стихийную жалость ко всяким мальчишкам и девочкам, очутившимся в грозном цейтноте. Истинную оценку заступничеству дает время. Пока лишь отдельные из учеников оправдали ее сострадание и надежды. Спасать надо тех, в чью будущность веришь.

Вия Адамовна, созданная моим представлением, как облако, гонимое ветрами, меняла очертания и теряла поверхностную голубизну из-за накоплений внутреннего электричества.

Раздумье о ней, неожиданной, она восприняла как растерянность,

вызванную моим пересмотром отношения к Валерке. Чтобы закрепить пересмотр, она повторила своей жесткий вывод:

— Спасать надо тех, в чью будущность веришь.

— Будущее не зависит от наших предсказаний, увы, даже от нашей веры. Занесешь кого-то в плохие, ан выйдет в самые хорошие. Кого-то прочишь в гении, вырастет ленивая посредственность. И не в том вовсе дело: оно в справедливости.

— Разве я не за справедливость, Виктор Константинович?

— Будущность Барженкова для меня — все равно что незнакомая местность ночью.

— Ну и ну... Зачем тогда плутать?

— И не собираюсь. Справедливость, ей-богу,— превосходный жизненный указатель. Он вывел меня к причине, почему Валерка сцепился с таксистом. Везде ребята слышат: «Выполняйте закон», «Придерживайтесь правил»... Мы тоже твердим в школе. Недавно майор милиции у нас выступал. Новый термин вживлял в ребячье сознание — законопослушность. Не по правилу таксист вынудил Барженкова ехать за двойную оплату. Ночью я обвинил Валерку в попрании джентльменского соглашения с водителем... Теперь допускаю: «Не законопослушность ли Барженкова вызвала против правонарушения?» Не выстави таксист своего условия, не дошло бы у них до потасовки. Диву даюсь крику о помощи. И на призыв законопреступника прискочили два человека и скрутили парня, в ком, по всей видимости, взвилось оскорбленное законопослушание. Мне нет резона, Вия Адамовна, ополчаться на водителя и клеймить его заступников. Водителю я сочувствую. Если вы пользуетесь т а ч к о й...

— Фу, что за слово, Виктор Константинович?!

— Молодежный сленг. С языка сорвалось.

— С меня достаточно городского транспорта.

— Вия Адамовна, вот мы рассуждаем, ну, прямо старую копешку сена растормошили. Под копешкой-то целое мышинное царство-государство.

— Мышей боюсь, в деревне не бывала. Вашей ассоциации не улавливаю.

— Ну, коль вы тачек не берете, вам не приходилось слышать от водителей, что в иных таксопарках имеется целая система поборов, вынуждающая их брать чаевые, быть может, и вымогать двойной тариф в пору ночных дежурств и дальних поездок, скажем, в Звенигород, в Тарусу, еще дальше.

— Добродее склонны к всеоправданию, Виктор Константинович. Сие заблуждение у меня позади. В данном случае я не спорю. Похоже на справедливость. Только я хочу разъяснить... Девушки и парни, чье поколение, волну за волной, мы отправляем ежегодно обществу, дают заметный процент паразитарных людей. Если я вижу, что Инна или Боря пополняет слой нетрудового элемента, я не стану, как раньше,

пробиваться на прием к ответственным лицам... За кого унижать себя? Да, унижать. Если бы всегда встречали обходительно... С меня достаточно сфер сверхвысоких давлений.

— В сверхвысоких давлениях создаются алмазы.

— Предпочитаю быть пуховой. Унижаться за ничевок, которые роскошествуют и не помнят добра? Больше никогда. Прикиньте, Виктор Константинович.

— Куда мне в оракулы! А правду, как ее вижу, попробую подтвердить.

## 6

Следователя я не застал. Было расстроился, но дежурный по отделению милиции, парень Валеркиных лет, длинный, застенчивый человек, кратко расспросив меня, дал анкету, чтобы заполнить, и вдобавок к ней велел написать свидетельское показание.

Свидетельское показание я написал легко. Чего проще изложить подлинно, как что было?

Анкета разочаровала меня в моих возможностях: не депутат, ученой степени и званий, кроме офицерского — пехотный капитан, — не имею, руководящую должность на гражданке занимаю временно и впервые, о чем посоветился упомянуть. Переживая за Барженкова, я корил себя за то, что не остался в аспирантуре. Петр Лесгафт из меня не получился бы, а кандидатскую диссертацию сумел бы защитить. Впервые страсть к преподаванию школьной физкультуры я воспринимал через самоунижение. Правда, я взбодрился, вспомнив о военных наградах. Кое-кто особое значение придавал двоичности моих орденов: два ордена Красного Знамени, два Красной Звезды, обе степени ордена Отечественной войны. В далеком прошлом мои степени, но я все же не ущемлен этим: занимаюсь р о д н ы м делом.

Надел пиджак, провел по эмали орденов, по бронзе и серебру медалей. Я демобилизовался, излечившись от ранений, полученных в Маньчжурии. Я не был кадровым командиром и отслужил, включая войну с немецкими фашистами и госпитальное время после войны с Японией, только пять лет, а зовусь в школе «отставником» из-за и к о н о с т а с а .

День к вечеру совсем остервенел от жары. В пиджаке я за минуты взопрел и вернул пиджак шкафу. Главной причиной, сознаюсь, было не то, что взмок, а то, что ущемил свое достоинство перед воображенным следователем, к л ю ю щ и м на пункты анкеты. Чтобы все состоялось по справедливости, я вознамерился задеть честь следователя: вы, дескать, не человеку верите, а его на сегодня, быть может, уже недействительным достоинствам, но пешей дорогой я успел сообра-

зять, что ненароком позволил разыграться тщеславию: я-то считал себя человеком без высокомерия; на деле, в катакомбах своей души,—самолюбец.

Следователь с фамилией Лобарев был хмур. При моем появлении он и вовсе помрачнел. Чтение анкеты не разогнало мрака на его крупном лице, рельефном за счет сильно развитых мышц. Весьма редки рельефные лица среди людей кабинетного труда. Худоба, отекаемость, одутловатость характерны для их внешности, тут — прямо горный массив вулканического происхождения. После я узнал, что Лобарев родом из Хакасии, сын табунщика, помогал отцу до армии. Отслужив, завербовался на угольную шахту донецкого местечка Димитрово. Завалило. Спасли. Получил инвалидность. Захаживал в штаб народной дружины. Пошел работать в милицию, учился в Академии Министерства внутренних дел, оставили в столице.

Мое свидетельское показание у б р а л о дельтовидное вздутие над переносицей Лобарева, длинные складки на челе типа гладких предгорий, холмистые дуги на спусках щек к углам крупного губого рта.

— Вострый паренек подследственный Барженков,— сказал он, пытаясь скрыть повеселение. — Не давал показаний, покада не свозил его к судмедэксперту.

— Что-нибудь невыразительное?

— Напротив. Почек не отбили, ребра целы, одначе они порядком его устарили. Черный синяк над областью сердца. При всем при том у него, простите за жаргон, была полная безнадёга. Ваше свидетельское не расходится с показаниями Барженкова. Я не любитель толочь воду в ступе, тем не менее спрошу: давно в одном подъезде живете?

— С заселения.

— Общаетесь с Барженковыми?

— Дружат наши сыновья.

— Похвально.

— Ничего похвального нет. Рядовая дружба, по совести — так, худосочная. Сойдутся. Магнитофон. Выпивка с плоскими девочками в джинсах. Короче, потребилровка.

— Похвально, что не отрещиваетесь от дружбы вашего сына с Барженковым. Частенько от тех, кто к нам попал, знакомые отлетают, как грязь от покрышек. Страх развит в людях. История у них получилась шибко опасная. Но я не уверен, что до такой степени раньше развита была перестраховка.

— В работе много перенапряжений. Дома хотя бы было спокойствие.

— Какая семья у Барженковых?

— Загадка.

— Определенней?

— Подъезд семей-загадок. Все ведь живут на особицу.

— Попробуйте охарактеризовать Валерия.

— Не попробую.

Лобаревские глаза расслаились. Я не видел повода для расслаительности. И переход от мрака чуть ли не к состоянию счастья мне решительно не понравился в следователе. Про себя зову я людей, настроения которых меняются от севера к югу, от восхода к западу, полярники а м и . Полярник в Лобареве возмутил меня, и я, сам того не желая, чтобы подсадить его за легкодушие, заявил, что не одобряю использование анкеты в следственном деле.

— Напрасно,— строго сказал он. — Вслепую работать нельзя со свидетелями. Нарушитель изучается с профессиональной глубиной, свидетель же остается за семью печатами. Знание свидетеля для меня определяет степень доверия к нему или сомнения в нем. Анкета может отражать на данный момент в чем-то мнимые качества свидетеля. Уж поверьте, Виктор Константинович, мы не склонны гипнотизироваться анкетами. Истину о преступнике или невинном в основном слагают свидетели, значит, проблема доверия и справедливости контролируется через них и с их помощью. Утопист Луи Себастьян Мерсье считал, что заблуждение и невежество — источники всех бед, терзающих человечество. Источники бед многочисленнее, но те, что назвал, на редкость важны для безошибочного дознания.

Я попытался подсадить Лобарева за слишком уверенную рассудочность.

— Товарищ следователь, проблема, ну, как постичь, кто есть кто, в наши дни усложнилась до непроясненности...

— Такого рода непроясненность не распространяется на простосердечное большинство.

— Но и не обольщайтесь, что простосердечность не уменьшается.

— Обольщаются женихи и невесты. Следователю важна истина.

— И свидетелю тоже. Кто, если не секрет, те двое, помогавшие таксисту в борьбе с Барженковым?

— Преподаватели университета.

— Поздно было. Откуда они взялись?

— Сидели в «Жигулях». Подъехало такси. Прибежали на помощь.

— И чего сидели в «Жигулях»?

— Не пожелали сообщить.

— Как не пожелали?

— Имеют право.

— Случаи вымогательства, по-гангстерски организованного, встречаются?

— Всякое встречается. Здесь не тот случай.

— Ах, преподаватели университета!

— Преподаватели университета действительно заслуживают доверия.

— А при мне эти оба обозначили себя как грабители.

— От душевных перегрузок люди выклиниваются из-под собственного контроля. Вначале они бросились защищать таксиста от грабителя.

— Стало быть, благородство на грани преступления преподавателям простится, а Валерка Барженков, взорвавшийся против вымогательства таксиста, будет судим?

— Спокойненько, Виктор Константинович. Лучше растолкуйте, почему в графе о наградах ничего не написали? Девятого мая текущего года я видел вас при всем иконостасе.

— А не хотел, чтобы мое прошлое послужило своего рода спасительным бункером для Валерки Барженкова, хотя за этого негодника я волнуюсь.

— Все логично. Такие, сдается, пряники, Виктор Константинович.

В сквере, который примыкает к ограде милиции, мальчишки, вытягиваясь со спинки железобетонной скамьи, рвали на каштанах еще зеленые, в шипах плоды. Я поинтересовался, для чего они рвут малосъедобные каштаны. Взапуски мальчишки мне растолковали, что из колочих о р е х о в после сушки получают мячики, скачущие не хуже теннисного мяча. Словоохотливость и взоры мальчишек были бесхитростны, навеяли мысль о том, что чем прекрасней взрослый человек, тем больше сохранилось в нем чистоты (в детстве, именно в детстве полностью выстраивается нравственное здание личности), прозорливой изобретательности, нерасчетливых свойств... И если утренней первозданности нашего возраста противоположен полдень или вечерняя заря, у нас есть повод для скорби: мы растеряли самих себя.

Лично я нет-нет и спохвачусь: к порче склоняюсь. То и спасает — детская совесть до сих пор на страже души. Моей мамы с к л о н. Она, как что: «Ой, девонька, куда ты сшибаешься?»

Близ двухэтажного здания, где помещаются булочная, аптека, фотография и магазин «Галантерея», я заметил Вию Адамовну. Она поворачивала к милиции, но углядела меня. Вия Адамовна огорченная. В отделе народного образования паника. Из Спаса-на-Угре сбежал ученик восьмого класса Игорь Обрин. Якобы практика там проходит безобразно, он боролся за порядок, его стали третировать, даже избили. Обрин просил сопровождающего для возвращения домой, вместо чего Дина Рудольфовна оскорбила его и прогнала из деревни. Отец Обрина — дипломат, позвонил в райком, оттуда велели «безотлагательно разобратся с лагерем труда и отдыха». Поскольку директрисы нет, а она, Вия Адамовна, конфликтовала с Обриньм-старшим, придется ехать мне самому.

Не все чувства я исчерпаю с годами, но уже теперь жалею, как сильно поизбылись отдельные из них. Смолоду легко давались перепады из состояния в состояние. Такая психологическая и телесная подвижность требовалась на войне, что победу над фашистами я воспринял как переход к плавной жизни: отстрадали, отстрашились, отсуматошились, отметались, отгибли, отгосковали... Но нет. До

конца дней, должно, мне даны страдания о сопричастности, печаль о тревогах других людей.

Эх, прерывается мое тропаревское кукование. И Валерки Барженкова историю не разгреб. Как бы не погубила парня строптивость. Упущу из-за поездки спасительный момент. Впрочем, дальше-то пока дело следователя и, наверное, районного прокурора?

## ЛЕДЯНЫЕ СНАРЯДЫ

Ты надела свитер с елками, черные японские брючки. Шапочка только не новая, но ты не огорчилась.

У мамы синтетический костюм с начесом. Он полнит ее. Она без того кругла, и ты заранее испытываешь неловкость, что ее фигура будет вызывать у прохожих грубые сопоставления, а какой-нибудь дядька, как недавно в магазине проката, скажет, словно бы спрашивая самого себя: «И куда люди наедают телеса?»

Вы собрались в сосновый бор кататься на лыжах. Спускаясь по лестнице, ты вспоминаешь о Тарутине. Ты в восьмом «Б», он в восьмом «А». У него в раздевалке порезали пальто. И драповый верх и саржевая подкладка висели, как лапша. Порезали мальчишки из девятого класса. Противные мальчишки, кичливые, приставаки. Ты переживала за Тарутина. Он не такой, как все. Не вихляется, не отращивает волос до плеч, хотя играет на гитаре и поет и носит джинсы, гармошчатые в коленях, но застенчивый; конечно, спуску он не дает, когда самого оскорбят или кого-то обидят при нем. В сентябре, едва начали учиться, он шел в школу, позади шла Валька Демихова, чудная девчонка: совсем безвольная, ни на что не обижается и, как болтают, спит на чердаках. Вальку окликнул вальяжный Чепрыкин:

— Протоплазма, подь сюда.

Валька не рассердилась, словно ее не оскорбили, и направилась к Чепрыкину, с ним еще ребята стояли. Тарутин подошел к Чепрыкину, назвал его сибироязвенным микробом и спросил, приятно, мол? Чепрыкин стал смеяться над Тарутиным, обращаясь к ребятам: «Смотрите-ка, умный парень заступается за шмакодявку». Ребята потешались над Тарутиным, а Демихова уговаривала его, чтобы не заступался. Он свое:

— Ты Чепрыкин — сибироязвенный микроб. Приятно?

Чепрыкин ударил Тарутина, Тарутин дал ему сдачу. Тут набросились на него ребята, получилось избиение, но он все-таки дрался и тоже клепал им синяки.

Вскоре после того, как порезали пальто Тарутина, тебе случилось услышать кусочек разговора между Микешей Шамраем и Чепрыкиным. Низенький Шамрай, приближаясь к входу в школу, не без лести заметил: «Все зависит от твоего бати».

Тебя насторожила эта фраза, ты вся натянулась в ожидании. Начальственно ступающий Чепрыкин согласился: «Все зависит от прокурора, следователи всегда замажут».

Ты слыхала, что кое-кого из девятиклассников вызывали в милицию и кто-то из них будто бы раскрыл виновников, однако дело почему-то застопорилось. И вот отгадка! Ты растерялась, даже струсила, потом вдруг нашла в себе решимость. Ты преградила путь Чепрыкину с Шамраем.

— Я все слыхала. Расскажу директору. Если что — к генералу прорвусь.

— Посторонись,— сказал Чепрыкин.

Ты не сдвинулась. Тогда он развернул тебя и поддал ногой. Ты полетела. Выплаканные у матери синие дорогие колготки разорвались, когда твои колени воткнулись в асфальт.

Ты догнала Чепрыкина на лестнице, сшибла с него вязаную жокейку. Сверху спускался завуч Валерий Яковлевич. Ты негодовала на вельможность Чепрыкина, на то, зачем таких типов выбирают в комитет, и на то, почему их там терпят, если узнают, что они вконец подлы, хоть и хорошо учатся, внимательны на уроках и умеют с идейным видом толковать о духовности, патриотизме, морали...

Валерий Яковлевич увел тебя в кабинет, расспросил, убеждал не делать шума, дабы никого из девятого класса не посадили в тюрьму. Кто изрезал пальто, найдутся, получат по заслугам, и Чепрыкин понесет наказание. При его воспитанности такая неучтивость! Впрочем, парень пока не рафинировался. Еще немного — рафинируется. Папа, рассказывают, был похлестче. Теперь крупный человек. Возрастное. Естественно. Рафинируется. Надо ждать. И ты, сахарная, срываешься. Помнится, историка из себя вывела. Он: «Дворянство — реакционный класс». Ты: «Революционный». По кому судила? По единицам. По Радищеву, Герцену, Толстому.

Окутал он тебя мягкословием. Затонуло негодование. Слыхала, собирали девятый класс у директрисы, да ничего не выяснили. Слыхала, собирались сами девятиклассники, сидели кругом, долго говорили. До чего дотолковались — неизвестно. Только одно известно: пальто Тарутину купила школа.

Вчера на уроке труда чистили тротуар, Нэла Букреева почему-то известила тебя, что ты нравишься Тарутину. Ты огорчилась, решив, что стала нравиться ему после сшибки с Чепрыкиным. Но Нэла сделала уточнение: он заметил тебя еще с косичками, то есть в седьмом классе. Короткую стрижку мама позволила сделать прошлой осенью. От этого уточнения ты ощущала веселую невесомость.

Сегодня с утра ты все о Тарутине и о Тарутине. И потому, что мелькнула догадка,— по его просьбе шушукалась с тобой Нэла,— и потому, что получила лихое Танькино письмо с Магнитки, прочитав

которое молча восхитилась: «Вот девка! На боку дырку провертит!» (Так говорила о твоей матери ее мама.)

Во дворе была тень. И едва вы очутились за углом, обе зажмурились от светапада. Мать угнула голову. Ты же вскинула лицо, и сквозь ресницы, розовые, оранжевые, синие против солнца, увидела мерцание белой голубиной стаи. Ты часто видела круговой лет этих голубей, мечтала уследить однажды, где они сядут, чтобы полюбоваться ими на земле. Сегодня ты не стала любоваться голубиным кружением. Порадовалась розовому, оранжевому, синему цвету ресниц, принялась думать о Таньке и Танькином письме. Вам навстречу попался мужчина в троекуровке из черного каракуля, меж лацканами пальто золотисто-красный платок. Мужчина что-то сказал о сосульках, завернул голову и закатил глаза, обращая ваше внимание на карниз.

Ты взглянула на крышу. Сосульки как сосульки. Зима сплошь сосульчатая. В новинку ему сосульки, что ль? Пожилой, а на шее золотисто-красный шерстяной платок. Вот бы мама купила такой. Ты бы повязывала, когда она добрая, или тайком, самовольно.

Ты потеснила маму в сторону около тротуарного сугроба: навстречу катила белый фаэтончик девушка в красном кожмитовом пальто. Из фаэтончика сквозь капроновую накидушку улыбался ребенок. Он зажмурился и заревел, едва капля, упавшая сверху, пробила накидку и попала ему на переносицу. Девушка склонилась над ребенком. Ее голос был нежный, чуть горловой, прямо Танькин!

Ах, Танька! Чудо было дружить с ней в лагере. Никого не боится. Запросто очарует кого угодно. Познакомилась с доярками. Ходили на ферму пить молоко, учились доить коров. Местные мальчишки устроили ради Таньки экскурсию на спичечную фабрику, где им обeim подарили охотничьи спички, горящие на ветру. Плохо, что Танька далеко живет. И жалко, не удалось встретиться в эти каникулы. Танька летела в Ригу через Москву. Назначила свидание, но мама не отпустила тебя, сославшись на безденежье. На самом же деле она находит Таньку вольной и опасается ее влияния. Всегда она так: от радостных подруг отгораживает, тихонь, в которых ни живинки, привлекает, улачивает, нахваливает. У матери подозрение, у тебя выбор. Внешне ты покорствуешь ее воле, но в душе не изменяешь своим привязанностям. Мама злится, когда ты получаешь Танькины письма, но читать не покушается. На конвертах выведено огромно печатными буквами: лично. Сегодняшнее письмо твоя мама вдруг вздумала вырвать. Пришлось закрыться в ванной комнате, перечитать и сжечь, но все равно оно дословно помнилось, будто заученное наизусть, и легко, отрадно скользило в уме.

«Натаха, эль-ля! Каникулы провела клево. В Ригу прибыли вечером. Кругом реклама, как в Америке, где написано по-русски, где по-латышски. Дома высокие, много башен, на них петухи. Снизу кажутся маленькими, с книгу, в действительности — с теленка.

Петухи, считалось раньше, отгоняли чертей от дома и людей, ну а сейчас только для верующих. Церкви в городе на каждом шагу. Ох и большие! Заглядывали туда. Внутри много молодых женщин в пушистых шапках, в туфельках на шпильках, молятся. Между прочим, молятся сидя на скамейках.

Улицы в городе узкие. Мы ходили цепочкой. Я позади. Отстала, рот разинула. Опомнилась — парни латышские. Хотели меня проводить в общежитие. Я драпать за нашими. Натаха, ох и фраера там! Ой-йей-йей! А девки! Платья прямые, без вытачек. В общем бесподобно!

Ходили в исторический музей, в медицинский, в планетарий. В Домском музее слушали орган. Как говорит баба Фая, в а р г а н. Смотрели фильм «Девчонок не берем». Восхищалась природой. Здорово было бы поехать на Рижское взморье и отдохнуть, как парни с девками из этой киношки. Вот, я понимаю, отдых! А то вечно с мамой. «Таня, ты почему не съела котлету?» Натаха, мы вот подрастем немного (я имею в виду не длину—чтоб в голове прибавилось), тогда поедем с тобой странствовать и еще кое, кое, кое-кого захватим. Да, у меня просьба: я хочу сшить себе летнее платье, фасон не знаю какой. Нарисуй, пожалуйста.

Знаешь, Натаха, влюбилась я. Худею. В кого? Смеяться будешь. Ладно, смейся. Влюбилась в сына попа. Но это такой парень — только поискать! Учится в десятом классе с математическим уклоном. Его фотка на доске почета. Играет на всех инструментах, твой-то только на гитаре. А фигура! Ой, не могу! Приедешь, с первого взгляда влюбишься. Самое главное — он ведь уже любил одну там. Страдание. А, ладно.

Фасон рисуй, чтоб вширь от пуза: я теперь совсем тоненькая. Эль-ля!»

На углу книжного магазина вы задержались. Дворник сорвал нижнее колено водостока. Тупыми снарядами, прогрохотав в ее стволе, из трубы выстреливался лед, расшибался об асфальт, катился, скакал, дробясь по скосу панели.

Витрина книжного магазина отражала оробелых пешеходов, сгрудившихся на тротуаре. Там же, в витрине, призрачно обозначились вы. Мама не замечала ни грохота, ни падения льда. В своей задумчивости и стеклянной призрачности она была несколько не чужда тебе и не казалась массивной от толщины.

Перекладывая лыжи с плеча на плечо, ты опять увидела голубей. Они летели по прежнему кругу. В тени облака бились их фарфоровые крылья. Какие только чувства не вспыхивали в твоей душе, пока ты дошла до книжного магазина, думая о Тарутине и Таньке, но ни на миг не шевельнулось в тебе чувство опасности или хотя бы возник импульс осторожности.

Голуби и лед, особенно лед, прежде всего лед — то были предупредительные знаки жизни, именно предупредительные, правда,

их веще значение и сложную взаимосвязь между ними твое сознание не сумело свести воедино.

Ты была в Тарутине, в Таньке, в Танькином письме.

А твоя мама была в своей недавней поездке в Москву. Ты знала, что она ездила покупать плащ, и знаешь, что покупка не состоялась. Но ты не знаешь, что произошло с мамой за это короткое время, где сейчас блуждает ее воображение, как на эти блуждания отзывается ее сердце и какие у нее думы о собственной судьбе.

Она пропустила раннюю электричку, покада готовила для тебя еду с запасом на два дня, отглаживала костюм, валандалась, приколачивая набойки на каблуки туфель. До очередной электрички ждать долго. Поехать на такси? Плата кусачая, хотя и делится на четырех пассажиров. Колебалась, все-таки поехала.

В Москве, перед пересечением Ленинского проспекта с Ломоносовским, едва поток транспорта задержался, увидела Андрея Колдыбина. Андрей стоял на тротуаре. В лице праздная грусть. Рука побалтывала портфель, простегнутый «молнией». Сунула шоферу червонец, и вон из машины, и прямо через газон, еще вязковато-серый, покрытый пленкой саж, и очутилась лицом к лицу с Андреем.

Он попятился, приняв ее за женщину, которая может внезапно являться командировочному мужчине, точно бы с небес падать, потом узнал, облапил, въедливо целовал, и она рассердилась, потому что для встречи давних сексуальных партнеров по институту это было до чрезмерности бурно, а главное, очень непохоже на постника Андрея, робкого сельского парня, каким он был в годы студенчества.

Ее мохеровый шарф сдвинулся на затылок. Она брела, надергивая шарф на голову и внатяжку скрещивая его концы на высокой груди. Андрей шел сбоку, добродушно ухмыляясь. Другой бы испытывал неловкость или бы извинился. Ничего себе превращение.

— Рад! — сказал.

«Мало ли что рад ты».

— Свободный день и около никого. Душа наразрыв. Счастливчик! Сроду не мечтал встретить. Скворец, да ты не меняешься!

«И лжет запросто».

— Все мы не те, что раньше. Ясно. Укутила молодость. Ты не меняешься. Про симпатичность глаголю. Мила! Пышка была, теперь... прогресс! Теперь — ромовая баба, кулич, пражский торт.

«Глупые восторги. Толстуха — и все. Впрочем, чего там! Деревенский вкус. Чем полней, тем ненаглядней!»

— Скворец, я докторскую готовлю. Мой консультант — профессор Эльбаум. Кое-какие сумления были по основной концепции. Приехал. Разрешилось. Старик ничего свежего не способен выдать, зато виртуозно шлифует чужие идеи. Они ему вроде зажигания. Заведется, понесся!

В институте твою маму звали Скворец. Она удивлялась, что так могли ее звать. А ведь звали! Она была быстрая, щебетливая, носила зачастую черное платье в сизую крапинку. Однажды ранней весной, на лекции, увидела скворца да как крикнет на всю аудиторию:

— Скворец! — С той минуты и укрепились за твоей мамой веселое имя, под стать ей самой: Скворец.

Кстати, Андрей Колдыбин не смел в институте называть ее Скворец. Где ему было! Мозглячком чувствовал себя перед ней, ничевокой, боготворил. О чем бы она ни щебетала, о самых иногда пустячных благоглупостях, он слушал с восторгом, умилялся до придурковатости.

«Скворец» — будто все годы после института это слово вилось у него на языке. И вот он произносит его со взрывной жадностью, но не так, как ровесник, а как мужчина, обращающийся к девочке. Это раздражает ее, и она так и хочет выпалить: «Дорвался!»

Но молчит, думая, что не из-за чего ей мстительно гневаться на Андрея, и все-таки гневается, а еще любопытствует глазом и одновременно видит внутренним взором себя, пристегнутую ремнями к сиденью на конце стрелы, возносящейся к солнцу, видит парк, западающий вниз вместе со студентками и студентами с их курса, самый что ни на есть неказистый из которых, даже мурашистый — Андрейка Колдыбин.

Глади-ка! Белесенький паренек, худющий от постоянного недоедания, носивший гимнастерку и брюки, сшитые чуть ли не из домотканого материала, — какая-то грубая холстина или хлопчатка, — превратился в современного джентльмена: туфли на манке фирмы «Саламандра», в цвет их светлой коричнево-оливистый костюм шведской ткани, полупальто из каракуля с хлястиком и накладными карманами, нерпичья кепка. И не белес — гладко темнеют бритые щеки, и не плюгав, и мужская взматерелость в чертах лица: скулы выдались, желобок на подбородке глубже. А раньше... Встретила взглядом — неприятен, тошнехонько. Терзалась: человек из скудных условий, перебивается на стипендии, но воспринимать иначе не могла. Возможно, смогла бы, да замечала — влюблен. Так и плавает по ней наивно-посконным взором. В читалке норовит усесться рядом. Экскурсия — лазит следом. На последнем курсе пробовал присвататься. Она в физкультурном зале занималась. Похудеть хотела. Он глазел. Сделала неловкий соскок с брусьев. В плече что-то заныло. Заставила дернуть за руку. Он дернул. В плече щелкнуло, и пропала боль.

— Исцеление любовью, — брякнул. И невероятно покраснел. — Не пожениться ли нам?

Ее возмутило. Одер, обтрепай — и надеется, что она свяжет с ним жизнь. За ней гоняется преподаватель педагогики Молотков. Умница, турист, рослый, смуглый, зубоскал, как раз из таких мужчин, которые ей нравятся, и то она не принимает его всерьез.

— Ты что? Построил в Москве трехкомнатную кооперативную квартиру? Югославской мебелью обставил? Кафедру истории получишь по окончании института? — И добавила, чтобы добить: — Аль примут на переплавку внешность?

Хороша была язвочка. От девичьего гонора, — словно все парни жаждали жениться на Зое Январской и она должна была выделить одного из них. Выделила. Молоткова. Подалась вместе в Сибирь. Своего жилья в столице у него не было — обитал в общежитии, да с подготовкой кандидатской диссертации затянул. Кандидатом Молотков так и не стал. Правда, казал вид, что изучает новое в методике преподавания общественных дисциплин. Толокся в школах, вел записи, выступал на учительских конференциях. В том, что говорил, не было обнадеживающей свежести, оригинальных выводов. Думалось: чего тогда виться в школах? И почему по-настоящему не приступает к диссертации: наброски, систематизация фактов. Все ссылки на то, что пока не располагает достаточно убедительным научным материалом. В первый же год семейного существования обособился: зарплату не отдавал, кормился в студенческой столовой, в субботу исчезал с туристами. Летом — на юг. Родилась Наташа, но и тогда он не изменил образа жизни. В конце концов раскрылось, что в туристических походах и на юге бывает с какой-нибудь из холостых учительниц. Уволили. Прибегнул к помощи московских приятелей. Определили директором школы в областном центре неподалеку от Москвы. Сдуру переехала к Молоткову, поверив эпистолярным покаяниям. Скоро уподобила личную жизнь его обособленности и свободе. И все-таки не хватило сил продолжать в таком роде. Подростала Наташа. Боялась покалечить переменчивую ее натуру. Прогнала Молоткова. Сама вышла в директоры. Контры с бывшими приспешниками Молоткова, будто бы она не руководит, а диктаторствует. При поддержке гороно устроили перевыборы директора. Прокатили негодяи.

Да, судьбы. Разве кто ожидал, что Андрей Колдыбин — и фамилия бревноподобная, и сам вроде заурядность — станет кандидатом педагогических наук. И не каким-нибудь, со специальным уклоном: преподает историю глухонемым. Преподает великолепно, пишут в газетах, благодаря собственной методике. Молотков чужие методические находки не сумел обобщить, у этого, поди-ка, собственная методика.

Останавливая такси, Андрей властно дирижировал ладонью, словно сажал самолет. Велел шоферу ехать в шашлычную близ Кировских ворот. Шофер был из балагуров. Заметил с кавказским глотательным придыханием и посвистом, что есть шашлычные поближе и попосней.

— Работай,— отсек Андрей.

Она могла бы остановить машину и уйти, но отказали душевные силы. Не ушла бы, наверно, и в том случае, если бы он оскорбил ее куда большей бесцеремонностью, чем давеча во время встречи. Вместе с тем ей не терпелось чем-то досадить Андрею, и лишь только он бросил водителю категоричное: «Работай»,— она рассмеялась и рассказала, резко подчеркнув ассоциацию, чтобы шофер знал, что ее сочувствие на его стороне, как ехала с Наташей на Урал и когда открылось просторное озеро Тургояк, по торопливости сказала: «Ната, море». Офицер, находившийся в купе, вкрадчиво поправил ее: «Не море, всего лишь горное озеро». И тогда, удивляясь самой себе, она крикнула дочке: «Мама сказала — море, значит, море!»

Андрей неожиданно самокритично воспринял этот курьезный эпизод. Он тоже замечает за собой ложную авторитетную несгибаемость и по отношению к сыновьям — дважды по двойне — и по отношению к чужим людям.

В шашлычной твоя мама и кандидат Колдыбин пили коньяк. Кругляки баранины были нормально протомлены над жаром, достаточно мягки и все же суховаты и безвкусны, и она ела их через силу, хотя и обильно поливала острым томатным соусом. Наблюдательный Андрей увез ее в ресторан «Пекин» ради искупления и чтобы она попробовала сборный салат из бамбука, медуз, креветок, кальмаров, вермишелистые водоросли, куриные прозрачно-резинистые яйца, выдержанные в земле не то два года, не то три... И она с удовольствием, не без опаски и не без его уговоров, закусывала разными разностями салата «Дружба», отведала вкусный студенистый суп из трепангов и была вознаграждена сочным мясом, приготовленным с приятными забористыми специями.

Он не уставал быть внимательным, непрерывно занимая ее ум чем-то любопытным, непринужденно касался изменений в осознании истории, а также сложных вопросов, связанных с международными отношениями, с ростом народонаселения, с переломкой нравственности под воздействием войн и политики. Обо всем этом у него были не те распространенные, обкатанные, надоевшие суждения, а те, до которых, как представлялось твоей маме, он додумался сам.

Теперь Андрей Колдыбин ей не надоедал, ничего похожего на прежнюю неприязнь не возникало в ней. Напротив, она испытывала чувство признательности: ничем не пытался напомнить об ее жестоким пренебрежении, не сожалел о том, что она не захотела за него замуж, добром отзывался о лекциях Молоткова, как бы предопределяя их благотворным влиянием то, чего достиг в своих трудах.

Когда пришли из «Пекина» на станцию метро «Маяковская» и твоя мама увидела возле колонн из нержавеющей стали глухонемых парней, объяснявшихся жестами, попросила, чтоб Андрей поговорил с ними.

Он так артистично стриг пальцами, надувал щеки и ударял себя в грудь, болтая с глухонемыми, что она была восхищена, будто он научился этому не после института, а еще в детстве.

Прежде чем войти в подземку, он, построжав, напряженно спросил:

— Ну?

— Что «ну»?

— В гостиницу?

Она поняла, что Колдыбин приглашает ее к себе в номер, про себя удивилась его лихости, но оскорбленности не ощутила. Было безразлично, куда ехать: к Андрею ли, к школьной ли подруге, в Калосный переулок на Арбате, где обычно останавливалась. Для приличия с вялой прохладцей сказала, что в гостиницу ее не примут — забыла дома паспорт.

— Не беда. Ты едешь ко мне.

Когда ты с мамой и пешеходами отражалась в витрине книжного магазина и когда задумчивость мамы и ее стеклянная призрачность пробудили в тебе дочернюю тягу и доброту, тогда мама пыталась понять, почему поехала в гостиницу к человеку, которым пренебрегла в юности и который вчера обескураживал, увлекал, обезволивал ее своим неожиданным преображением. Она думала об этом под громыхание, треск, шорох водосточного льда, и ей опять представлялась стрела, только пристегнут был к сиденью, одет в лакированный шлем и возносился к солнцу Андрей Колдыбин, а она оседала в разверзнувшуюся безнадежность. Тогда, в студенчестве, Андрей не пожелал прокатиться на стреле в отличие от Молоткова, который, летя в небо, кидал ей на землю розовые бессмертники.

Эскалатор поднял их в аванзал гостиницы. Где-то в стене раздался круглый мелодичный бой, и разомкнулись двери лифта. Опять до слуха детски нежно дотронулись шарики звона, и лифт стал подниматься.

«Задержат... — испугалась твоя мама. — Милиция. Письмо в школу. Осуждение и обсуждения. А чего бояться, ради чего бояться?»

«Он, он мой убийца», — вспомнил ей в эту минуту Молотков.

На этаже Андрей Колдыбин задержался у конторки дежурной, чтобы взять ключ. Быстро догнал твою маму, мигом открыл номер.

До полуночи она боялась, что в номер протелефонирует девушка и попросит проводить гостью, но звонок, которого она ждала, как ножевого удара, пощадил ее.

Все она ходила по сталисто-серому паласу, не столько внимая Андреевым рассуждениям о благостном будущем человечества (он отрицал возможность ядерной войны, почему-то уверенный в том, что наши наблюдатели из космоса узурпируют земную безмозглую ярость), сколько прислушивалась к телефону и коридору, а едва время

склонилось за полночь, упала в кресло, будто брела через всю Москву с тяжелой ношей. И тут подошел он и сказал, что на ее кофте красивые, подобьем в жемчуг, пуговицы, и расстегивал их сразу двумя руками: она тускло думала, что хорошо бы вспылить, надавать ему по мордасам и уехать в Калошный переулок, но немо лежала в кресле и чувствовала, что ее тело невесомо от безволия.

Вероятно, она все-таки ушла бы, тихо, невозмутенно, если бы не определила по тому, как охрип голос Андрея Колдыбина, каким громадным волнением дается ему решимость, и если бы он не заговорил с ней, словно с девушкой, чистую тревогу которой надо успокаивать застенчивым увещанием.

Чуть позже он опять стал властным, и эта властность не отвращала ее. С обидой ей припоминалась затяжная томительность жизни после Молоткова.

Жаловалась она Андрею, благодарила его, радовалась собственной, казалось, потерянной ласке и освобождению от скрытности.

Когда вы проходили мимо церковной ограды и ты взглянула на колокольню и удивилась, где берут смелость жестянщики и маляры, которые прошлой осенью подновляли колокольню, работая без лесов, на одних лестницах и зачастую не привязывались к веревкам, в этот момент мама видела себя ночную и душила в груди отчаяние, стремившаяся в стон, такой огромный, на всю улицу. Ты не подозреваешь этого, девочка, как и мама не подозревает, что в твоем мире с год назад образовалась зона, чуждая для нее в тебе, и потому ты замыкаешься, но ты бы хотела пускаться перед ней в откровенность, чтоб находить сочувствие, понимание и совет. Но ты никак не пробьешься к ее сердцу и уму. Они забронированы от тебя ее тоской. Да что от тебя? От солнца. Так оно светило ей в глаза! От людей. Ни дядька с красно-золотым платком на шее, ни юная женщина, катившая фэзтончик, ни ее малыш, заплакавший от капли, сорвавшейся с карниза, не вывели ее из состояния самососредоточенности. От города. Он выпаливал из водостока ледяные снаряды, однако не сумел взорвать ее отъединения от всего, что вокруг. Она вся была в своей московской боли-радости.

На рассвете оделась. Замерла возле окна. Воздух был протертосерый, в его чистоте пластиной, соборно стояло высотное здание на Котельнической набережной. Река меркло лежала в гранитных берегах, ветер, сквозивший к ближайшему мосту, обнаруживал, что льда на воде нет, только чернота, от беззвездности, от холода.

— Теперь мы обречены на встречи. Без встреч нам не будет счастья,— сказал Андрей, останавливая ее у эскалатора, скользившего к залу станции «Новокузнецкая».

— Мне они обещают одно горе.

— Неправда. Я смогу приехать через полтора месяца. Предупрежу тебя. Ну, встретимся?

- В начале третьего тысячелетия,— промолвила она.
- Ты узнала цену своей строптивости. Не обижай, пожалуйста.

Покупка плаща не представлялась теперь существенной. Она проехала на Киевский вокзал, оттуда к себе в город, утром была дома.

И хотя устала и никак не могла оторвать душу от минувшей встречи, согласилась отправиться на лыжную прогулку в бор, потому что этой зимой ни разу не выезжала с тобой за город, в лес.

И вот вы шагаете трогуаром каждая в своих думах. Вы не подозреваете близкой разлуки.

Вы еще побудете вместе, идя по вилючим тропинкам среди сугробов сквера, на лавочках которого летом любят отдыхать цыганки.

Темный сизарь покида грустно сидит на капители под портиком театра, но он скоро вспомнит об автобусной остановке, куда люди возвращаются с базара и бросают там голубям подсолнечные и тыквенные семечки, пшеницу, крошки бубликов, яблочные сердцевинки. Вспомнит. И когда вы будете ждать подле дома автобус в бор, он прилетит и попытается сесть на воронку водосточной трубы. У вас есть еще минута, чтобы взглянуть вверх, увидеть воронку водостока, покореженную тяжестью уродливых сосулиц, и козырек крыши в сталактитах мартовского льда, и уйти на обочину мостовой. Но вы не взглянете вверх, и никто не надоумит вас поостеречься.

Рядом с вами беспечно топчется старик, катая за спиной, в мешке, егозливого поросенка. Подгулявшие женщины в плюшевых жакетках в обнимку толкуют о сыновьях, завязнувших в городу. Солдат подкидывает металлический рубль, ловит в ладони, отгадывает — решка или орел. Туда-сюда снуют пешеходы.

Сизарь трепещет над воронкой водостока. Много раз он садился на ее край, высматривал добычу, слетал вниз. Сейчас он оскользнулся на ледяной шишке, выпиравшей из воронки, жажнул в испуге крылом, сосулька обломилась и падает, Наташа, на твою голову. Отскочи!

Как же это ты не отскочила? Тебя увозит, захлебисто вереща сиреной, длинный автомобиль. Ты возвращаешься в магме. Раскрываются чьи-то глаза. Уголки вздернуты у висков. То глаза Таньки, но ты не узнаешь их. И тонешь в магме. И лишь где-то в глубине кратера догадываешься, что это Танькины глаза, и мечтаешь ей сказать, что возьмешь в путешествие Тарутина, а сказать нельзя: магма, магма, магма.

## ВИДЕНИЯ ВАЛЬКИ ПЕРЕГОНЦЕВА

Начались они после смерти матери.

Смерть была страшная: взглянуть не разрешили. Он кормил нутрий арбузными корками. Прошел длинный грузовой состав. Из двора, поверх забора, он видел на вагонах стальные трубы, сквозь

какие можно было бы гнать коров, как через тоннель под железнодорожным полотном. Товарняк еще не отстучал колесами к зерновому элеватору, а к воротам уж прибежала Лена Скиба и оттуда хныкала:

— Валь, Перегонцев, твою маму поездом зарезало.

Он слышал это, но к себе не относил. Почему-то ему пришло, что на их улице есть другой Валька Перегонцев. И после, во время учебного года, когда кто-нибудь разговаривал о нем и не замечал, что он поблизости, Валька чувствовал, что он бывает словно бы не он.

Как только понял, что у Лены Скибы один соученик Валька Перегонцев живет в соседях, он бросился бежать проулком к травяному откосу, где гомонили женщины. Они не допустили Вальку до насыпи. Махали ладонями вниз, мол, иди обратно, тебе нельзя, и так как он не уходил, тетя Стеша Скиба, огромная красавица с тряским телом, на которую, будто загниотизированный, обычно смотрел Валькин отец Семен Григорьевич, спустилась к нему и повела домой.

Она хотела уложить Вальку в постель: пульс бился, как сердце у пойманного воробышка, но он захотел стоять около клетки с нутриями. И тетя Стеша постояла с ним, спрашивала о вчерашнем вечере. Она видела, что Семен Григорьевич брел по улице сердитый, держа руки коромыслом и вращая кулаками. Она боялась, что он вздумает гонять их с мамкой по двору, грозя утопить в колодце, и приготовила палку для его укрощения. От калитки между дворами она не слышала, что происходило у Перегонцевых, поэтому решила, что Семен Григорьевич быстро заснул.

Валька сказал тете Стеше по секрету, что ничего он не заснул: заставлял петь песни на два голоса. Всегда Валька пел первым голосом, а мама подлаживалась второй, хорошо получалось. Тут Семен Григорьевич велел маме вести первым голосом, его на второй перетолкнул, но вторая ему не давалась, Семен Григорьевич их останавливал, приказывал заводить сызнова. Мама попросила Семена Григорьевича пожалеть Вальку, потому что ему давно надо было ложиться спать, а Семен Григорьевич укорил ее за то, что она метит воспитать соню, что и без того от спунов храп над всей страной стоит и днями нет настоящей работы. Внезапно Семен Григорьевич переменял свою волю, они пели привычно, правда, не больше куплета давал весті — заказывал другую песню. Редко ему не нравилось, как они поют «Снег наносит север дальный», в этот раз вопль обрывал, якобы они без сердца ведут мелодию.

С того места, откуда бабы вернули Вальку Перегонцева, покатились моторные гулы. Наверно, врачи приехали, милиционеры? Тетя Стеша, отвлекая его, попросила, чтобы он малость сказал песню «Снег наносит...», поскольку не знает ее, но ему было опричь души говорить песню, которой Семен Григорьевич их замучил, и он отказался и сразу услышал голос матери:

— Скажи, сынок. Чё ты?

Ее голос долетел от калитки. Мать виднелась там, как маревое в солнечный день над пахотой. У него даже поплыло в глазах.

Он зажмурился, стал говорить начальный куплет, который страшился позабыть:

Снег наносит север дальный.  
Торный путь я не найду.  
Средь веселья я печальный.  
В стужу — пламя на ветру.

Дальше он прекратил говорить, испугавшись, что обозначался. Может, кто другой находился возле калитки? Там уж никого не было.

Валька побежал в дом. Но дом был такой пустой, тоскливый, беззвучный, как лес поздней осенью.

Заревел Валька, бросился наружу. В огороде матери тоже не было. Тетя Стеша вместе с Леной увели его к себе. В сумерках опять раздался голос матери. Она прильнула к окну из сада, подманила к закрытым от комаров створкам. Он был в комнате Лены, сама она и ее родители находились в горнице.

Мать умоляла Вальку скрывать о том, что вчера Семен Григорьевич сказал, будто бы не любит ее и не любил, а женился из-за ее верной природы, не сыскав среди девушек и женщин ни одной надежной. Шепотом Валька пообещал до поры до времени держать язык за зубами. Мать похвалила его и унырнула под гроздьями рябины в туман.

Когда он возвращался на топчан, Скибы, все трое, сгрудились в дверном проеме.

Валька заподозрил, что Скибы разобрали, о чем он говорил с матерью, и вовсе уверился в этом, едва тетя Стеша, убеждая Семена Григорьевича не брать сына на похороны, обмолвилась о каких-то галлюцинациях, навещающих Вальку.

Не так трудно было коротать каникулы, пока Семен Григорьевич не продал нутрий. Ему понадобились средства, чтобы, как он уверял тетю Стешу, справиться сорок дней по благоверной.

На улице судачили, что он не продал нутрий, а забил: мясо сдал в ресторан, оно дорогое и вкусное, из меха ему сшили шапки, он продал их по двести пятьдесят рублей.

Дядя Родя Скиба работал заготовителем. Валькина маета задевала и его, хотя он считал, что детство прекрасно быстрой забывчивостью. Для забывчивости он взял Вальку в лес. Жили они в палатке. Рядом был склад и закупочный пункт, наскоро сшитый из досок. Грибы сушили, мариновали, солили в бочках. На целую зиму Валька запас боровиков, подосиновиков и всякой соленики — рыжиков, груздей, свинушек, чернушек, волнушек. И деньжат на сдаче грибов заработал. Кабы не закупка стеклянной и деревянной тары, хватило бы на приобретение сине-красной японской куртки.

Семен Григорьевич, хваля Вальку за хозяйственность, посетовал на то, что он малость опоздал с грибами на вечер в честь новой мамки Натальи Михайловны.

Едва микроавтобус уехал и они с отцом подняли картонный ящик, оставленный литровыми банками с маринованными красноголовиками, калитку им отворила Наталья Михайловна. Мама приходилась Семену Григорьевичу по плечо: из-за ее стройности, девчоночьей ужины талии невольно бросалось в глаза, как широки грузные плечи отца, прямо-таки оттягивает их, как широк он в поясе, мог бы благодаря этому работать грузчиком мебельного магазина. Наталья Михайловна ростом обогнала Семена Григорьевича. И упитанностью она не уступала ему, но при всей своей стати, одетая в костюм бортипроводницы, не обнаруживала телесной тяжелени.

Поужинали. Семен Григорьевич направился в огород тыквы на другой бок переворачивать («Выдули, что боровки»), а Наталья Михайловна приобняла Вальку и принялась рассказывать о своей судьбе. Она чуть постарше тоже осиротела. Отец с матерью возвращались из Ромодановских Двориков, куда ходили в гости к сослуживцам по Спичке — так в Калуге зовется спичечный комбинат. Случилось горькое совпадение: дошли до середины моста, льды на Оке тронулись. Мост был понтонный и разорвался. Родители потонули. Евгения, старшая сестра Натальи Михайловны, переселилась во Внуково, выйдя замуж за штурмана пассажирского самолета «ИЛ-62». На похороны она приехала с грудными близнецами. Наталья Михайловне надо было доучиться до окончания шестого класса. Дожидаясь ее, сестра продала вещи и родительский пятистенник, сад которого примыкал к ограде церкви Покрова на рву.

Еще в школе Наталья Михайловна начала готовиться в стюардессы, для чего старательно изучала английский язык, географию, историю. Летала на рейсах страны и на международных авиалиниях. Сперва страшилась, что погибнет: бились в ту пору самолеты, — потом привыкла, и аварии пошли на убыль. Радовалась путешествиям, как праздникам, но постепенно, на взлетах и посадках, у нее возникали боли в затылке. Учащались боли, усиливались, другой раз она чуть ли не пропадала от них. Больницы, санатории не избавили от недуга. Однажды сняли ее с авиалайнера за мертво. Хотя долго лечилась, отправили на инвалидность. Попробовала работать на аэровокзале в справочном бюро. Долго не выдержала: от самолетных гулов и многолюдья возобновились боли в затылке, из-за чего свет не мил и постоянный страх смерти. Перебрала она целую дюжину всяких работ, не сыскала нужной для здоровья. Лишь с переездом в их тихое местечко, которому ее маленький племянник Антон дал определение *д е р е в н и* в городе, ей стало лучше. Перебралась она к одинокой тетке по отцу. У нее свой дом с огородом и садом. Устроилась администратором медицинского профилактория электромоторного завода.

Семена Григорьевича она знает около двух лет. Он отдыхал в профилактории, а также наезжает туда для наладки лечебной аппаратуры. Он, конечно, не сахар. Однако из-за болезни она пропустила свой срок... Ей известно, что к нему отец относится излишне строго («Жестоко,— подумал Валька и добавил словами матери.— Хуже, чем к пасынку»), поэтому, как сирота сироте, она обещает оберегать его от несправедливостей. Со своей стороны Наталья Михайловна просила Вальку, если Семен Григорьевич разбуянится, заступаться за нее.

Они сидели возле черного комода. Наталья Михайловна держала руку на Валькином плече, а Валька на лаковом плече комода. Верхняя планка комода сияла перламутровыми инкрустациями. На планке скользили стайки парусников, насиживали птенцов журавли, раскрылись над водой лилии, спали на крышах островных жилищ облака. Были там и картинки с людьми: рыбак выбирал сеть, женщина тащила пук бамбуковых побегов... Как раз под Валькиной ладошкой плюхал по мокрой дороге голоногий крестьянин, а перед ним плелся сизый крапчатый вол.

Комод достался маме от родителей, больше никакого наследства на ее долю не выпало. Она любовалась им и Вальку приучивала к любованию. Когда Семену Григорьевичу взбрендивалось позабавиться ее слезами, он хватал молоток и грозился раздробить постылый азиатский шкафчикшко.

Слушая Наталью Михайловну, Валька невольно поглаживал пальцами рога вола, но моментами ему хотелось колупнуть то один рог, то другой.

По обыкновению Семен Григорьевич ел в красном углу под своим портретом, украшенным полотенцем с петухами, вышитыми болгарским крестом. Как раз оттуда, где не смела сидеть, мать попросила Вальку беречь наследственный комод и сроду-роду с ним не расставаться. Закатное солнце еще не заглядывало в красный угол, поэтому лицо матери было иконно-темным, припечаленным.

— А я берегу,— сказал Валька громко и ради улучшения ее душевного состояния постарался уверить в том, что скорей помрет, чем расстанется с комодом.

Мать поклонилась сыну внятным, прямо-таки тягучим поклоном, и сутемь в красном углу сделалась пепельной, каким был шарф на ее голове.

После разговора, когда мать просила Вальку никому не рассказывать, что Семен Григорьевич не любил ее, и когда обнаружилось, что Скибы их слышали и назвали это его галлюцинациями, Валька стремился не выдавать общения с матерью.

В присутствии Натальи Михайловны он машинально раскрылся. Наталья Михайловна не предполагала того, что с ним творилось,

поэтому и восприняла Валькину промашку с простонародной женской простотой:

— Попричилось... — и в надежде сострадательно объяснить, что с ним происходит, прибавила: — Тоскуешь о маме. Сама извела такую тоску.

Кто не подозревал о том, о чем подозревал Валька Перегонцев, на тех людей он сильно досадовал. На новую мамку он не подосадовал: сирота, несчастливица, применила к тому, о чем не подозревает, застенчивое слово «попричилось».

Учительница Екатерина Корнеевна Нестеренко неистово уважала скромных детей. За двадцать лет ее работы в школе дети изменились: стали капризней, наглей, вероломней, самолюбивей, скрытней. Правда, школа была английская, престижная, как многозначительно выражались родители тех девочек и мальчиков, кто в ней учился. Хотя городской отдел народного образования рекомендовал при наборе особое внимание уделять детям рабочих, по преимуществу занимались в ней дети начальства, научно-технической интеллигенции, военнослужащих... Рабочие, узнавая о повышенных требованиях английской школы, предпочитали устраивать своих ребятишек в обычные школы: забот у них достаёт, пролетит детство — не увидят.

Екатерина Корнеевна — безотцовщина, выращенная матерью, которая работала уборщицей строительного техникума, не допускала в свою душу предубежденных чувств к детям привилегированных родителей. Не без горечи она замечала, что родители в таких семьях гораздо лучше, чем дети: сами труженики, а дочек и сыновей о б е р е г а ю т от хозяйственных забот по дому; результат — белоручки, неженки, эгоцентры, от которых жди спеси, заносчивости, бессердечности, разгильдяйства, захребетничества. Что не менее страшно, подчас родители, используя должностные к н о п к и и связи, бросались оправдывать тяжелые проступки лентяев, наглецов, безмозглых болтушек, гурманствующих подонков... Но сама-то Екатерина Корнеевна была учительницей начальных классов, в которых зачастую дурные свойства и вредные наклонности детей еще находились в терпимом инкубационном периоде или скрашивались внешней милотой.

Валентина Перегонцева (Екатерину Корнеевну раздражали неполные имена и приторно подслащенные ласкательными суффиксами) она учила третий год. Ценила его за скромность, что означало в ее личном понятии: он мальчик, наделенный серьезными достоинствами, однако не задаётся и откровенен с нею как с очень задушевым другом. Да и вообще Екатерина Корнеевна была убеждена в том, что от единственной учительницы в трехлетке, а позже от классного руководителя ребенку не следует утаивать то, чем он поделится с бабушкой-дедушкой и родителями.

После смерти матери в нем обнаружилась неискренность. О чем Екатерина Корнеевна ни спросит Валентина, на все он отвечает уклончивым словом и ч е г о.

Ужаснуло Екатерину Корнеевну то, что на ее чуткий спрос, тоскует ли о маме Анне Ивановне, Валентин ответил бодрым поваживанием головы. Пристальное наблюдение за ним на уроках не позволило ей поверить мальчику. Передко, забыв обо всем на свете, он сидел скорбно неутешный. Иногда его лицо исходило таким радостным оживлением, будто бы он смотрел кинофильм, где показывали трогательные и одновременно веселые сцены из жизни медведей или лошадей. Екатерина Корнеевна, щадя Валентина, не делала ему замечаний, а сердце тем не менее щемило, что скромный Валентин начинает портиться, чему горе не может быть всеоправдательным поводом.

С первого класса Екатерина Корнеевна приохочивала ребят к сочинениям, на каникулы давала задание вести дневники. Это, верила она, утончает их чувства и создает подвижный ум. Мыслительную неподвижность она считала застарелым и опасным человеческим пороком. Для себя самой в дневниках и сочинениях она искала прок: ученики обозначают доверительные свойства собственной натуры, благодаря чему ей гораздо легче слагать их личность. Не зная убеждения японцев о том, что человек формируется до десяти — двенадцати лет, она совпадала с ними: он у нее в основном складывался в пределах начальной школы.

Сочинение «Мама и я» она давала с прицелом на Валентина. Чтобы он не проявил ни уклончивости, ни лжи, встала перед ним и в обостренно грубоватой манере, ей присущей, что находила педагогически действенным, поставила условия: вранье только унизит мать, потому пишите честно, не избегая как возвышенных, так и не достойных вас переживаний.

Валькины соученики, которых Екатерина Корнеевна не жаловала, говорили, что он купился на ее слова. Здесь проявилась их себялюбивая ущемленность. В действительности же Екатерина Корнеевна руководствовалась лишь заботой найти отгадку его состоянию, дабы не дать испортиться чистому характеру Перегонцева.

В сочинении Валька написал о новой маме. Наталья Михайловна обходительная, вкусно кормит: захотел жареных карасей — сходит на вокзальный рынок, соскучился о варениках с творогом — быстро налепит, сыпанет в кипяток, подает залитые сметаной; школьная одежда у него опрятная, выглаженная. Можно было бы подумать, что она подлащивается к нему. А она не подлащивается. Тогда бы не приучила стирать носки, трусы, чистить ботинки, вовремя менять библиотечные книги, носить с колодца воду для всех домашних нужд, в том числе для бани, где они парятся, забравшись на полки, конечно, мало в отличие от Семена Григорьевича: он-то подолгу хлещется веником, а потом тянет пиво в предбаннике.

Валька не остается в долгу перед Натальей Михайловной. Как от повышенного давления у нее заболит затылок, он делает ей горячие ножные ванны, лепит на шею и плечи горчичники, а то и перцовый пластырь. Про новую мамку и про отца от правды он на миллиметр не отступил. Но, кроме этой правды, есть еще: всем кажется, якобы его родная мама бросилась под поезд. На самом деле она жива. Они встречаются таким образом, чтобы никто им не мешал. На заготовительном пункте они почти не расставались. Когда ему поручили варить грибы, мама, если все уходило в лес, была рядом с ним возле медных котлов. Мама сидела на чурбаке, ногу на ногу, покачивая венгерским сабо. В лес, как в гости, она старалась принарядиться. Раньше Семен Григорьевич сердчал: на природу в самое плохонькое надо одеваться. Но маме удавалось надеть или захватить с собой кое-что из праздничной одежды. Она говорила Вальке, что лес обыкновенно красивый, свежий, потому что стремится радовать своим видом зайцев и птиц, и стрекоз, и бабочек, тем более людей, ведь они в большинстве слишком редко навещают его. Мы любим лес, и ему хочется любоваться нами. Замечала: у костра неласковые люди, в обтрепанных брюках, в засаленных фуфайках, и деревья, и травы мрачнеют вокруг них, белые кувшинки на речке — те закроются и опускаются вглубь. Яркие люди на поляне, — и цветы радостные, и дубы светлеют, и трава колышется, и птицы щебечут, будто на заре. На грибоварне мама появлялась в кепочке из льна, которую сама сшила и подсинила, в сияющей оранжевой водолазке, в кримпленовых брюках сиреневого цвета. Мама мечтала об одежде из натуральных материалов. Да где ее купить? А эта ей к лицу и приятна глазам леса. Вчера они виделись на лавах через речку Ключевку. Дул студеный утренник, а мама была в платье из панбархата и не мерзла. Платье маме досталось от ее матери. Сразу за войной лет пятнадцать панбархат держался в моде. Платье лежало в сундуке. С год тому назад мама перешла его на себя. Оно было цвета темной вишни, но бабушка и мама определяют его как бордовое. На груди у мамы светились зеленые камушки. Это бусы из моховиков, ведь в них находится настоящий мох, только тот, который рос около вулканов во времена, когда люди еще не превратились из обезьян, если только превращались. Мама угостила меня бояркой. Целую гроздь дала, большущую. Сперва мне померещилось, что это базарный виноград из Таджикистана или Туркмении. Огромные ягоды, черно-алые! Я хотел улестить боярку, но мама попросила не торопиться. Лучше поделимся переживаниями. Я собрался спросить, где у мамы сейчас дом, но догадался — в лесу. Там теперь много бордового цвета в осинах, в кленах, в ольшаниках, в тальниках... Ей милый такой цвет, глазам леса приятно мамино платье. Моховики тоже приятны, ведь моху там полно, особенно на высоченных елках. Так что, Екатерина Корнеевна, мама не покончила самоубийством из-за того, что Семен Григорьевич

сказал, будто бы не любит ее и никогда не любил. Она живая. Зато теперь ни капельки не стремится к Семену Григорьевичу.

Екатерина Корнеевна растерялась от сочинения Валентина, даже кляла себя за спровоцированную ненароком его большую исповедь. Советовалась с директором, школьным врачом, посетила Перегонцевых.

На консультацию к детскому психиатру повезла Вальку Наталья Михайловна. Его оставили в клинике.

Вальку лечили. Прежде чем отправить Вальку из больницы, главный врач пригрозил ему:

— Учти, малыш, ежели будешь смотреть кино, опять попадешь сюда.

Валька егозливо взбрыкнул ногами, выскочил во двор.

С этого дня Валька Перегонцев закрыл для всех свой и мамин мир. Даже Лена Скиба, на которой он женился, не догадывалась, что его мать вроде нее почти неразлучна с ним.

Изредка Вальке и матери удавалось уединиться в лесу. Тогда они пели на два голоса и почему-то неизменно заводили с проклятой песни Семена Григорьевича: «Снег наносит север дальный».

## БЕЗВРЕМЕННОСТЬ

Похолодало. Ветер из киммерийской степи, набегами, колобродный. Взглянешь на тополь, заслышав петляющие шумы листвы, а его пирамидальную вершину скручивает винтом.

Ветер из степи, но воду не отгоняет: навстречу ему накат. И толчется, пляшет, свивается влага залива.

Что-то от птиц осенью в людях. Сорваться и лететь. Но они лишь слоняются по улицам, где разгонистый буйствует воздух.

И мы с Таней не можем усидеть в помещении. Идем набережной, торопливо, чтобы оказаться за поселком. Там нет заслонов для ветра: простор долины смыкается с вольной волей моря.

Нас тормошат подхватливые ветры, раскрыливают полы, а когда вздувают плащи на спинах, ощущение неустойчивой взвешенности начинает обманывать: совсем приблизился подъем. Но миг неравновесия, воспринимаемый как предполетный, кончается. Потяжеление. Магнит земли удерживает прочно. И дальше, дальше кромкой берега, на рубеже тверди и воды.

Тем днем, сперва притемненным тучами, потом полным солнца, нежного, словно тамарисковый пух, мы ушли за мыс Хамелеон и невзирая на приближение заката продолжали двигаться краем берега.

Через холмы ветер сюда не дотягивал — затухал. Зато низовка поперла с моря, и Тихая бухта, на выходе из которой крупней, чем

весной и летом, выставились скалы, несла к суше на гребнях волн шорохи, жужжание, всхлипы переплесков.

Завороженные поднебесной свободой и морем, мы все же свернули в междугорье, откуда планировали чайки.

Дорога поразила нас тишиной, заветрием и тенью, еще не скрадывающей былинки, камней и цвета. По обочинам холмный скат, покрытый колкими жухлыми травами, и пахота, по-верблюжьей тусклая.

Покой, беззвучие, и охватило нас осенним замирием.

После, едва выбрали на открытый свет перед сумерками, в котором покамест находилось солнце, и потому была ясна гора Волошина с накренным лохом серебристым на макушке, мы, всмотревшись в трещиноватые почвы, точно бы взломанные руслом мертвого ручья, испытали и чувство безжизненности, усиленное пятнами белесых солевых размывов.

Дорога малоезженная. Между колеями, узорными от черствых машинных отгисков, трава, как везде тут иссохшая до костистости.

В траве я и заметил свежий безвременник. Чашечка распахнута. Шесть лепестков, лодчатых, изголуба-сиреневых. Три шафранных тычинки с крючком, кораллово-красный пестик, разделенный натрое.

Давно, тоже в конце октября, я увидел такой цветок на торной тропе Карадага. Красотой он напомнил мне уральскую сон-траву, но больше походил на крокусы.

Я описал цветок седому коктебельскому садовнику, и он определил его название: по-народному безвременник, по-научному колхикум. Наверно, не потому я запомнил цветок, что был он красив, а потому, что он, младенчески милый, неберегаемый, рос прямо на тропе, а не около, не в стороне от нее.

Был я этим душевно ранен.

Таня склонялась над безвременником, любовалась им, притрагивалась к нему.

Ниже, по всему дорожному спуску, безвременники встречались в колеях на отверделом колесном рубчике. Я обратил Танино внимание на это, да еще и рассказал о первой встрече с колхикумами, однако она не восприняла ни моего уточнения, ни моей тревоги. В своем ласковом восторге прелестью цветов, передающейся сразу взору и сердцу, она была не в силах проникнуться чем-то другим, кроме чувства счастливого восхищения.

Я сердился на Таню, не подавая вида, потому что, неотделимо от раздражения, прибывало желание если не понять, то хотя бы чуточку угадать, почему я, кому легко удается влиять на нее, теперь бессилен.

Раздражение упряместует в нас, сводя к осуждению благородную охоту постигать. Уж было я собрался выговорить ей, что она не соизволила вникнуть в мои слова, да спохватился: колхикум и Таня

родственны. Часто, доходя до отчаяния, я опасался, что события пройдут через нее наподобие танков. Сдавалось, те события и люди, завязанные в них, находятся в несоединимости с ее чуткостью, совестью, верой, высоким милосердием. Близкие говорили, опять же и недруги, что она то поздно родилась, то рано. И в состоянии духовного смятения я не соглашался с тем, будто бы она родилась не в ту пору.

Я остановился над колеей. Цепочкой всходили по уклону безвременники, чисто-чистые в своей сиреневости, прозрачной до мерцания стрекозиных прожилок. Чудотворно их присутствие в низине, загубленной летним жаром и сейчас отходящей в зимнюю онемелость. Вероятно, это значит, что колхикум вырастает на дорогах и торных тропах как свидетельство того, что красота и невинность беззащитны, но возникают и осуществляются даже на окаменелой земле.

И позже, под гулы шторма в ночи, думалось: «Безвременники — цветы надежды. Безвременники ко времени тогда особенно, когда над миром нависает погибельность безвременья. Ничто из прекрасного не возникает понапрасну».

## ГЛОТОК СОЛНЦА

Весной, когда попадаешь за город, вдруг становится жаль самого себя.

Это чувство не однажды возникало в моей душе, потом я забывал и о нем, и о том, что его вызывало, и оно опять возникало и вспоминалось по весне.

То же чувство недавно пробудилось во мне, едва я выпрыгнул из бензиновой духоты автобуса, пыхнувшего тормозным воздухом.

Я увидел глинисто-желтый ствол сосны, на котором жужжали лоскутки кожицы, крону, заваленную ворохами гнезд, кружащихся воронов, горлающих восторженно и картаво.

Скоро должна была отходить электричка на Москву, и я подумал, что надо торопиться, а сам все глядел, как вороны заваливаются с крыла на крыло и отбрасывают зайчиков звонким с виду своим черным пером.

Возле кассы я узнал, что отправление электрички отодвигается на час: ремонтные работы на дороге — и начал скакать с рельса на рельс через шпалы, политые мазутом и нефтью.

За путями голубели длинные лужи. Дальше, по-над лесом тянулась поляна. Я крутил головой, чтобы ее со всех сторон омывало солнце, и глядел то на землю, из которой выкинулись ландыши, то на маленькие сосенки — из них уж выметнулись свечи, светились розово, нежно.

Под березами я обнаружил островок каких-то растений: граненые стебли, лиловатые цветы.

Если бы не сиверко, день был бы жаркий. Ветер шелестел в березах, попискивал в хвое, ронял мохнатые сережки осин.

Я сразу уловил, как среди лесных звуков, вызываемых сиверко, возникло это гудение: словно кто-то дернул струну контрабаса, и она громко дрожала.

Не рокот ли это далекого реактивного самолета? Спутал гудение шмеля с гудением самолета. Вот он, шмель, вот он, голубчик, вывернул из-за ели, сделал вираж над крохотным кленом, еще не расправившим ладошку своего единственного красноватого листочка, и мелькнул к островку низеньких растений, нырял среди веточек, гудя деловито, глуше, на мгновение задерживаясь над цветами, вероятно, определяя по запаху, есть ли в них пыльца и нектар или нет. Над одним цветком шмель трепетал дольше обычного, сел на его чашечку, напоминающую величиной и формой чашечку ландыша, только до того стянутую внизу, что внутрь ведет игольчато-узкое отверстие, ухватился за эту чашечку передними лапками и запрокинулся, и поблескивая брюшком, прилаживался, чтобы уткнуться в цветок, и запустил туда хоботок, и замер — так гуляка припадает с похмелья к стакану с вином.

После шмель еще гудел и петлял меж веток, по-медвежьи неуклюже хватался за чашечки, виснул вверх брюшком, сосал нектар.

То ли он устал бражничать, то ли пьяная тяжесть навалилась, он потянул низко-низко над стланью прошлогодних листьев, приземлился неподалеку, возле ландышевой пики. Он уткнулся головой в черный осиновый лист, закрыл ее лапами, затих и лишь изредка взметывал крылышками, и они мерцали прожилками, и еще мерцало темное пятнышко на его медных заплечных латах.

Меж прядяющими тенями берез качалась дымка света. Как я не догадался, что шмель сел «позагорать». Ну точно: повернулся боком к лучам и застыл, и только ветер гнет крылышко. Повернулся задом наперед, потом — другим боком. Греется. И все закрывает голову лапками, будто остерегается, как бы ненароком не получить солнечный удар.

Я стоял, стараясь не шевелиться. А когда переступил и стал наклоняться, чтобы лучше разглядеть шмеля, он даже не шелохнулся: заснул.

Я снова переступил. Неудача — задел за хворостинку.

Шмель взвился и улетел.

Я засмеялся. Он, должно быть, так перепугался спросонья, что летит сейчас над поляной со скоростью реактивного истребителя, а из травы в испуге ловят его глазами муравьи, божьи коровки, бабочки, мушкетеры.

Я пошел вдоль края леса. То, что мне посчастливилось наблюдать, как «загорал» шмель, отразилось на моем настроении так, будто я сделал какое-то удивительное открытие.

Из черно-ржавых еловых лап пробивалась изумрудными коготками молодая хвоя, листья осин до сих пор не расчехлились, наверху порхали перистые рябины. Все это я видел прежде и ясно помнил, но казалось, что оно позабыто и воспринимается точно впервые.

Весна не просто повторение, она обновление земли, воды, деревьев, трав, чувств, взгляда, надежд, нежности.

Она возвращает и обновляет твою печаль по тому прекрасному в природе, чем ты мог любоваться и что мог бы открыть для себя, но пропустил из-за прикованности к городскому круговороту жизни.

Я побродил по лесным сырым тропинкам и, возвращаясь на станцию, прошел мимо холмика, на котором чирикали во все горло воробы.

Платформа пахла теплым бетоном. Пассажиры, облокотясь о перила, созерцали бор и плывущее над вершинами сосен алюминиево-синее облако.

Никто не спешил садиться в электропоезд, хотя до отправления оставалось немного времени, только в хвостовом вагоне сидела старуха с девушкой.

Когда дзинькнул провод от прикосновения поднявшихся пантографов, все, кто находился на платформе, повернулись к электричке. И тут встала с места старуха. Она двигалась по вагону, придерживаясь за спинки сидений. Девушка следовала позади, расставив руки, готовая подхватить старуху под руки.

В тамбуре девушка спросила спокойно:

— Бабушка, ты куда?

— Глотну солнца.

Старуха остановилась в дверях вагона, вскинула в небо лицо, отбеленное годами до полотняной бледности, зажмурилась и глубоко вздохнула весенний воздух.

Я побежал по платформе, чтобы сесть в головной вагон. Полоскал волосы в солнце.

## ПРОСТОР

(Из индийских рассказов)

Устает-то как человек от заслонов и стиснутости. До возникновения огромных городов его постоянным чувством было чувство простора. Бег ветра по травам, колышень лесов, восходы и закаты, дневное и звездное небо от зенита до горизонта — все в ту пору принадлежало его взгляду.

Чувство простора только кажется потерянным: оно лишь сжалось, смирилось, впадает в спасительную спячку. Но едва человек освободится от занятости, его охватывает желание устремиться к простору.

Да столько встает самоограничений и внешних преград, подобных железобетонным квартирным стенам, что зачастую ты сникаешь и откладываешь свидание с простором.

Остановка возле океана, не предусмотренная делейской фирмой, которая обеспечивала наше путешествие по Индии, далась нам легко. Здесь власть предопределения и расчета не победила. Благодаря женщинам. Все-таки женщины по-прежнему держательницы милосердия. Наша московская переводчица и мадрасская гидесса, пухленькая большеглазка с перстнями на руках и ногах, рискнули взять на себя ответственность за остановку и неминуемый перерасход.

Хижин и дощатые домики отеля «Сильверсэнд» — «Серебряные пески» ютились среди кокосовых пальм, хлебных деревьев, казуарин. Мы сняли два номера, переделались и, перемахивая через вал раскаленного порхающего песка, помчались к заливу.

Ртутное сияние небосклона. Белизна океана, откуда выбредают широченные валы, становясь горбаче, прозрачней на пути к отмели. Влево берег гладок, тянется далеко, пока его не скрадывает марево, вправо, тоже приятный от ровни, он как бы прерывается близ пирамидального храма, будто парящего то ли над сушей, то ли над водой. Образ строения миражно тонок, сизоват, ускользящ. За тридевять земель отсюда Преображенская церковь в Кижях, а перекликается ее красота с красотой Прибрежного храма.

Вот он, вот он земной простор. Вот он, вот он очнулся в тебе, и уже не сдвлена душа, и небо в ней открылось, и распростерся океан...

Мальчишеская легкота возвращается движениям, озорное взвешивание, и ты, распынявая воду, несешься навстречу вздымающейся волне, не успеваешь пронырнуть ее, охваченный опасной беззаботностью. Волна сшибает тебя, заверчивает, волочет по дну, благо зыбкому, летучему, вырывающемуся из-под твоего тела. Опаска очнулась в тебе. До того как накатный вал рухнет на отмель, выплываешь на глубину.

Во время океанского наката и рядом с берегом долго не нарезвишься. Своей набегающей, отвальной, слагающейся в резвое течение водой он отберет у тебя чувство простора, заменяя его зависимостью. Но лишь выбежишь из воды, возвратится ощущение воли.

Я пошел, все это испытав, по берегу в сторону Прибрежного храма. Хотелось безлюдья. Перенасыщение людскими впечатлениями еще в Коломбо, а в недавние дни — в Мадрасе, откуда мы выехали ранним утром, склоняло к одиночеству, тем более что оно на часы: надо ведь коснуться думой человеческого коловращения... Вероятно, рано я пробовал подумывать о свежих впечатлениях: ничему не было мысленного эха.

Настроился на созерцательный лад и на поиски ракушек. Замечал на горячем песке одинаковые ямки. Кабы птицы или змеи оставляли вмятины, их след бы обнаруживался. Допуская, что таким образом оседают просыхающие от росы пески, я не находил в ямках есте-

ственной коничности, да и чутье вело к уверенности, что береговые оспины создаются живым существом.

Издали я не различал лиц моих товарищей, которые отдыхали в шезлонгах после купания. Мимо них прошагал длинноногий индеец и свернул с отменной кромки на знойный песок. Был он ярко-коричнев, в набедренной повязке, за плечом круглился узел. Паломник? Священное место рядом: храмовый ансамбль Махабалипурама. В походке и во всем облике рослого человека улавливалась спортивность, отвергавшая в нем бродячего богомольца. И на посох он не опирался. И загар был на удивление глянцежит. Ни дать ни взять от постоянной полировки солнцем и морем.

Индеец вдруг остановился и начал пятиться. Я не знал, что за опасность тут может подстерегать: скорпион, сколопендра, удав, кобра...

Я присматривался к песчаной поверхности, с которой он не спускал глаз, однако ничего не замечал. Зато внимательней приглядываясь к нему самому, смекнул, что он отступает для разбега. Прежде чем ринуться вперед, он не наклонил туловища, а на бегу слегка запрокинулся. И лишь прыгнул, то летел, чтобы воткнуться в песок, рискованно наискось: казалось — грохнется на спину.

Дальше он проявил почти неуследимую стремительность: колесо тела над песком, откуда он выхватил крупного краба. Через мгновение краб уже находился в мешке.

По мере его приближения ко мне, прыгнув удалось добыть, ни разу не потратив сил напрасно, еще четыре краба-великана. За минуты — и такая добыча! В моем заветном Коктебеле я всего однажды видел столь богатую поимку крабов, правда, для этого аквалангист выходил в море на катере и около часа шастал над дном на двадцатиметровой глубине.

Я поджидал краболова, вникая в подробности его охоты. Удар в песок он наносил перед ямкой пяткой левой ноги. Краба, вероятно, притискивало, приводило в секундную оторопь, а индеец уж стоял на правом колене, успев приторкнуть рядом поклажу, гребки ладонями — и клешнятый отшельник схвачен.

Я шел поблизости от удачливого охотника. Примеривался он с прежней тщательностью, но прыгал впустую. Наверняка неметко всаживал пятку в берег, потому и не прижувкивал крабов, и они успевали заглубиться в песок или быстро отгребались от своей укромной лежанки вбок.

Просто было догадаться, что его промахи из-за меня. Праздношатай, чужестранец неотрывно таращился — поневоле начнешь пульсировать, будешь сбиваться раз за разом.

Человеческая приветливость в Индии обычно чужда снисходительности, терпелива, неиссякаема. Немудрено избаловаться. Пусть эта избалованность движима по-мальчишески невинным любопытством, но и она досаждают.

После очередной неудачи кудрявый краболов — одно колено вверх, другое уткнуто в песок — было вздумал ощериться, да зубы не оскалил, ограничась уширением рта и щек. Мина ничего не выражала: лицевое движение — и все. Не только поэтому, но и потому, что помешал его счастливому промыслу, который, возможно, он спешил закончить, чтобы продать крабов кухне гостиницы «Серебряные пески», я не подосадовал на охотника. Но и при том, что я застеснялся собственной нетонкости, возникло у меня желание, чтобы он задержался на минутку. Вместе посмеялись бы над моим «дурным» глазом. Больше ничего бы и не надо: душа соприкоснулась с душой. Потом он бы продолжил свои разбеги, прыжки, ловлю, а я почапал бы обратно.

Наблюдая за ним, опять добывающим крабов, я мысленно призывал его остановиться, но он спешил, удаляясь к Прибрежному храму, который, так как облако наплыло на солнце, обозначил свой цвет: прокаленно-бурый.

Я побрел к гостинице. Чувство простора сжималось во мне. Заведенность на дела, на обеспечение семьи слишком всепоглатительна. Вот у меня, разве дело — не цель целей?

Я жадничаю на время для встреч с друзьями, в праздники — труд, в доме отдыха — творческая отрешенность от всего на свете. Нет, я не раскаиваюсь в том, как живу. Я сожалею о скаредности на общение с людьми. Впервые мне открылось, что и оно — простор, подобный небесному, океанскому, равнинному.

## ОГНЕННЫЕ ТАНЦОРЫ

(Из шри-ланкийских рассказов)

Мы выскакивали из темноты зала, где только что сидели на концерте, в сумрак дворика, укрытого навесами.

Гомени, назначенный нашим гидом еще в Коломбо, осторожничал по части обещаний. Когда мы спрашивали, удастся ли увидеть танцы на углях, он лишь гадательно прядал пальцами правой руки, будто бы к чему-то прислушиваясь, но ответа не получая. Его пальцы, кольцевые в суставах, утончались к ногтям, как бамбук к вершинкам. В их поспраивании улавливалось, что Гомени томит то ли непредсказуемость, то ли опасность, заключенная в надежде, если с нею обращаться откровенно, без трепета и обережения.

Наверняка для того, чтобы мы уцелели, мчась в автобусе по ручьистым дорогам в горах, и чтобы удача сопровождала нас во время путешествия, он делал жертвоприношения местным богам. Он давал своему помощнику деньги на покупку кокосового ореха, и тот расшибал орех о корень священного баньяна. Неподалеку от города Канди он сам купил кокос, да гораздо крупней, чем за весь путь, и так

грохнул им по корню, что орех взорвался и обрызгал молоком его впалые щеки и черную в две волны скособоченную челку. Оглаживая голову и щеки, Гомени подозвал нас к роднику, который топтался в каменной лунке, и едва мы напились, поддал ладошкой снизу вверх, показывая, сколь шустро надо запрыгивать в автобус.

Пока — на сцене исполнялся сингальский танец с мечами — Гомени вынимал из ряда Татьяну, меня, нашего согруппника поэта Гришу Фабриканта, всегда имевшего при себе кожаную сумку кубом, где хранились доллары, зарегистрированные в аэропорту Шереметьево-2, и прочие, как он кичливо хохмил, непреходящие ценности, супругов Лепиловых (он исторический писатель, она домашняя хозяйка скандинавского облика), детективщика Сайко — угрюмого богатыря, мигом веселевшего при виде женщин из Японии, с Тайваня, Малайзии, Филиппин и сразу переходившего со своего баритонального баса на кукольные голоса, — гиды других делегаций тоже поднимали с мест «избранных» туристов и вели в боковую дверь, через которую мы выбегали под дождь и скоро оказывались под навесами из пальмовых листьев.

Трибуна, куда мы с Татьяной кинулись, состояла из четырех ступенек. Поднялись на самую верхнюю ступеньку. Сайко было поднялся к нам, однако подпер сивой головой крышу. После слов: «Я работал всем, кем заставляла жизнь, но работать каритидом не желаю», — он перескочил на трибуну напротив, где обнаружила себя фотовспышками японская группа; в ней среди низеньких мужчин возникала в синеве мгновенного света японка, похожая на женщин Кацусика Хокусай: прическа вскинута со лба и раскрылена чуточку над висками, белеют стрелы заколок, правда, не кимоно на красавице — блузка снежного батиста и потертые джинсы. Мы решили бы, что Сайко сбрендил, если бы он не вживился рядом с японкой и не вызвал бы какой-то остротой улыбку на ее лице. Пузанчик Гриша Фабрикант присоседился к супругам Лепиловым, стоявшим на нижней скамье правой трибуны, около которой находилось квадратное углубление, где догорали костры. Вот уж кто разглядит огненных танцоров, так разглядит. Подобно о б о ю д н ы м Лепиловым, Грише всегда удавалось, куда бы он ни попадал, занять привилегированное положение. Привилегии были их стихией, убеждением, обязанностью без укоров совести.

Костры осаживались, расплзались. К углублению вышли два подростка, одетых в саронги — клетчатые юбки, обиходные для шриланкийцев мужского пола. Мальчишки похаживали вдоль костров до момента, когда пламя как бы втянулось в костры, что означало, по крайней мере для меня, — поленца прогорели.

Тоненькие подростки ускользнули в темноту, возвратились в легких темных гетрах. Из-за открытых лапок, из-за неприметности икр, охваченных трикотажем, мне подумалось, что выступать будут

именно они, почти невесомые мальчишки. Странны заблуждения рассудка. Теперь я догадываюсь, что жар красных углей одинаково опасен, что для пушинки, что для слона, для пушинки даже страшней: вспыхнет — и нет ее. То, что подростки обнаружили уязвимость своих голеней, не примирило мою мысль с тем, что их плоские ступни менее чувствительны к ожогам.

Площадку для танца готовили все те же мальчишки. Они разгребли угли по всему ложу ровно-ровно, выбрасывая оттуда сучки, точно камни с грядки. Жаркая гладь расстелится: угли, укладываемая один к одному заподлицо, и по твердости должны быть одинаковы. В связи с этим корчило меня подозрение, что разравнивание производится ради убавления температуры. Будто для каверзы пульсировал цвет углей: красный, оранжевый в опушке синего огня, вдруг темный, мерцающий сизым налетом, — и я злорадствовал: «Так оно и есть — не без обмана».

Сучки под грабельками постреливали тугими искрами, и тогда все-таки проклевывалось в душу сочувствие: их гетры, похожие больше на обрезанные чулки, в самую пору пацанам, чтоб не уязвило кожу от щиколоток до коленок.

На минуту исчезнув, мальчишки возвратились голоногими. И там, откуда они выпорхнули, начали вздвухаться ударные звуки, и мы углядели в сутеми музыканта в белом, скрестившего ноги калачиком. И у меня защемило сердце от отрешенного вида танцоров, скользящих вдоль края углубления. Что-то мерещилось в их подвижках в такт барабанам от ритуальной мольбы о милости богу огня. Похоже, и на Цейлоне, как в Индии, бог огня Агни часто по-доброму расположен к людям, ибо прогоняет тьму и холод.

Небосклон над Канди не только дождал, но и озарялся, громыхал, бушевал ветрами. Легкий сквознячок, занырнувший к нам в дворик, выдернул из угольной россыпи флажки пламени, обнес трибуны припалаящим зноем, и стало стыдно за недавнюю подозрительность: температура кострища, наверно, не меньше шестисот градусов и способна выжечь ступни до костей, да не то что мальчишеские, а даже ороговелые, как у бездомных бродяг.

Я не заметил, тревожась о подростках, что барабанные стуки взлихорадило. Но я тотчас воспринял их, едва возник близ огненного растила взрослый человек. Он включился в горячку ритма: едва уследимы перебирания ногами, перевязанными в лодыжках чем-то пышно-белым. Его пушистая юбочка топырилась, она, связанная из волокон койры, джута, морской травы, трепетала, парик раскосмачивался, потому что танцор, явно нагнетая оторопь на злых духов, ударял головой вниз, потом туловищем, и от этого шевелилось кострище, источая из себя грозные жала.

Грохот барабанов нарастал. Мнилось, будто бы лишь он создает напряжение публики. Вовлекаясь в наблюдение танца, страсть

которого набирала лихорадочную быстроту, я ощутил, что крепну волей, и понял, что музыка дроби, рокота, боя в ы с т р а и в а е т состояние огнеходцев для сопротивления гибельной температуре.

Взрослый танцор, он мага напоминал, белого мага, обуянного светлым чувством. Он был неуязвим для тьмы, разжижаемой угольным заревом. Он отгонял зло от себя, от подростков силой власти, творимой жаром, барабанами, собственной верой в неизбежность очищения огнем.

Только в эти минуты, когда смотрел на пляшущего мужчину, я вспомнил об очистительной сути огня. А ведь мне доводилось видеть на колесе храма Солнца круговой барельеф с беременной женщиной, стоящей над пламенем очага, — священная подготовка к родам, читать о ланкийском празднестве в честь бога Сканды, сына Кришны и Порвати, куда стекаются индуисты, а частью — буддисты, кто ради избавления от греха решает пройти огненным путем, предпочитая умереть от ожогов, чем жить оскверненным.

В разную пору я слышал и опять же читал о том, что никому не удавалось ходить по углям без последствий, но нередко говаривалось и писалось противоположное этому: всяк, внутренне себя подготовивший или впавший в транс, не терпит ущерба на костерном отрезке.

Внезапно подростки взялись окуривать ступни своего старшего партнера. Их дымарь походил на тот, каким у нас окуривают пчел. Неужели невообразимо тонкий налет вещества, выделяемого этим куревом, предохранит ноги от температурного урона? И покуда они совершали окуривание, чадом которого окутывалось лицо мага, я разглядел, что оно скуласто, курносо, скорбно.

Мальчишки покружили около него с дымарем, и он плавно ступил на угольную полосу, и плавал в танце, ведомый душевным накалом, — так солнечно было лицо. Не слышалось хрупания, подобного снежному, обычно раздающегося под ногами непосвященных. Его отрешенность, которую выявляли движения, точно бы лишённые воли таящимся в потемках гипнотизером, совлекла подростков на разглаженные ими костры. Мы трепетно смотрели на всех троих, отнюдь не воспринимая музыку их скольжений как представление.

Есть ли взаимосвязь между выделениями человеческой энергии и природой? Загадка. В минуты огненного танца, вероятно, вырывались в пространство такого могущества телесные токи, что возбудили над нами целую рощу молнии. Удар с неба расплющил барабанный бой и зримо отдался в фигурах огнеходцев: они словно бы подвинулись, призастыли, выпрыгнули из углубления.

Мальчишки стали показывать лапки трибуне, куда внедрился Сайко. Японцы, зачарованные танцем на углях, было забыли фотографировать, а тут спохватились: запольхали импульсивные вспышки «никон» и «канон», снимая горделивых пацанов. Как я завидовал японцам, даже завистывал: привезут кадры, отобранные у чуда

и темноты. Сайко суженным горлом что-то воскликнул восторженное для своей красавицы соседки, затем прибавил и по-русски:

— Ни волдырёчка! Экстра-класс!

Я успел взглянуть на м а г а. Он тоже продемонстрировал ступни, но с грустной задумчивостью. Ступни были ровными, пальцы округло широки в концевых подушечках. Тусклую светлоту подошв, и малость не воспаленных, оттеняли черные стопы.

Лепилины обоюдосерьезно отнеслись к неповрежденности его ног, на своем расторопном английском языке выразили признательность господину артисту и распустили над собой цветастые зонтики, которые выменяли на матрешек. Поэт Гриша Фабрикант, выделявшийся бочонком животика рядом с поджарыми Лепилиными, смотрел искоса либо на свою кубастую сумку, где сберегал «доллары и прочие непреходящие ценности», либо на ступни м а г а.

Хлынул ливень — последнее рожи молний. Зрители панически покидали трибуны и мчались в зал, где продолжался концерт. Гриша Фабрикант, прежде чем юркнуть за парой Лепилиных, что-то положил танцору на вывороченную подошву. Тут и раздался хохот. Чей — я сразу и не уловил от его неуместности. Однако этот хохот прямо-таки прожег мою душу. Недоуменный, я различил, как угибаясь и покачиваясь, бредет в темень, мимо ударника, паковавшего барабаны, патлатый м а г и хохочет, хохочет, но вроде не от того, что ему смешно, а от боли, от отчаяния.

Уже на бегу я спросил Гришу Фабриканта, что-де ты положил на ступню огнеходцу.

— Значок, — невинно ответил он. — Все удрали. Чем смог, тем вознаградил.

Наш разговор с Гришей услышали Лепилины. По-всегдашнему неукоснительно он заметил в салоне автобуса, что танцорам на углях не принято давать деньги: обидишь. Она прибавила куда более неоспоримо, чем муж (в том, в чем он был убежден, она была еще уверенней): их, мол, оплачивают высоко — билеты очень дороги.

Встал Сайко, внимательный ко всему случающемуся. Провергать Лепилиных он не стал, но подсадовал, что не захватил из фонда делегации превосходный сувенир. Пожалуй, не без умысла он посетовал, отворотясь от Гриши Фабриканта и Лепилиных, что японцы, щедрые люди, сегодня оказались не на высоте, из-за ливня, конечно.

Явления, непроницаемые для чувств и разума, образуются тогда, когда они вне опыта твоей народной среды. Отсюда мучительность в попытке их постижения. Шкала градусника, служащая для измерения температуры человеческого тела, не превышает сорока двух единиц по Цельсию: это предел его жизнестойкости. Вода, из которой в основном состоит наш организм, начинает выпариваться из него при меньшей температуре. Какими же законами в таком случае объяснить,

почему огнеходцы не только не гибнут от фантастического жара, но и сохраняются в нерушимости их ноги?

Однажды я оказался в обществе людей, которые жили на Шри-Ланке или наведывались туда по делам. Поинтересовался, пытались ли они вникнуть в тайны хождения по огню. Дипломат связывал этот феномен с буддизмом, как с вероучением, издревле определяющим для ланкийцев. Постулатом, свойственным изначальному буддизму, который не отделить от существования цейлонцев на протяжении тысячелетий, является б е с с т р а с т и е. Заглубится человек в бесстрастие — его плоть уподобится камню: потеря чувствительности, состояние неразрушения.

Врач поддержал дипломата, но попробовал уточнить. Жизни присуще страдание, а поскольку буддист воспитывается на безразличии к страданию, его психо-физические свойства создаются таковыми, что обретают способность безотказного управления организмом, даже если потребуется спасительно противостоять огню. И тут он высказал догадку, не вязавшуюся с б е с с т р а с т и е м, хотя и не отвергавшую его. В своем воображении огнеходец доводит внутреннюю температуру тела до температуры горячего кострища, чем и нейтрализует его воздействие на себя.

Индолог, склонный выводить особенности человека из его генетической взаимосвязи с космосом, климатом, геологией, указал на то, что закалку местных островитян создали солнце, парниковая атмосфера, ходьба босиком по каленым камням, пескам, почвам. Чтобы доказательство было неотразимым, он сравнил огненного танцора с цветком купины неопалимой. Когда вокруг бушует пожар, купина спасается, потому что не сама горит, а горят эфирные масла, которые она выделяет. Он вовсе не сомневается в том, что ноги ланкийца, шастающего по красным углям, выделяют жарозащитные вещества.

Истины об огнеходцах не исчерпать: она многомерна в своей простоте и чуде. Эта истина не болела бы во мне, если бы не давала повода для скорби. Ведь я не забыл тот смех-отчаяние. Мнитесь, он был осуждением постыдным материальным мерилам. Да разве хождению по огню есть мерило равноценней, чем духовное восхищение?

**Николай Павлович ВОРОНОВ**

**КРИК О ПОМОЩИ**

**Редактор Д. К. И в а н о в**

**Технический редактор О.Н. Л а с т о ч к и н а**

---

Сдано в набор 05.05.86. Подписано к печати  
03.07.86. А 02000. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ .  
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-  
изд. л. 3,09. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000.  
Изд. № 1635. Зак. 2902. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865.  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ**

● Вы часто посещаете сберегательную кассу для уплаты за квартиру, коммунальные и другие услуги, что требует значительных затрат времени.

● Этого можно избежать, если Вы воспользуетесь безналичными расчетами через сберегательные кассы. По Вашему заявлению сберегательная касса временно перечислит со счета по вкладу нужную сумму любой организации — получателю платежа.

● Безналичные расчеты через сберегательные кассы осуществляются как в разовом порядке, так и длительное время.

● Поручение о безналичных расчетах вкладчик может дать сберегательной кассе лично либо прислать по почте. Необходимые бланки для оформления таких поручений имеются в любой сберегательной кассе.

● При посещении вкладчиком сберегательной кассы все перечисленные с его счета суммы будут записаны в сберегательную книжку.

● Пользуйтесь безналичными расчетами через сберегательные кассы! Они экономят Ваше личное время!

**Российское республиканское главное управление  
Гострудсберкасс СССР**